

КАЙ БЕРД, МАРТИН ДЖ. ШЕРВИН

ОППЕНГЕЙМЕР

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
АМЕРИКАНСКОГО ПРОМЕТЕЯ

Теперь я смерть, разрушитель миров.
«Бхагавадгита»



ЧИТАЙТЕ КНИГУ — СМОТРИТЕ ФИЛЬМ КРИСТОФЕРА НОЛАНА!

**Кай Берд
Мартин Дж. Шервин
Оппенгеймер.
Триумф и трагедия
Американского Прометея**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69163162

Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея:

Издательство АСТ; М.; 2023

ISBN 978-5-17-148712-6

Аннотация

Первая полная и подробная биография «отца атомной бомбы» Дж. Роберта Оппенгеймера – великого и харизматичного ученого, который создал оружие, способное уничтожить мир. Но, осознав последствия своей работы после трагедии Хиросимы и Нагасаки, он начал борьбу за международный контроль над ядерной энергией, а также яростно выступал против разработки водородной бомбы.

Оппенгеймера ненавидели высокопоставленные сторонники «ядерного превосходства США», за ним вел непрерывную слежку директор ФБР Эдгар Гувер, изучая каждый его шаг и каждое слово. Репутацию ученого целенаправленно уничтожали,

записывая в изменники родины. Однако время все расставило по своим местам...

Его непростая жизнь – ключ к пониманию недавнего прошлого и осознанию ошибок, которых можно избежать в будущем.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Предисловие	7
Пролог	17
Часть первая	24
Глава первая. «Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство»	25
Глава вторая. «В своей темнице»	65
Глава третья. «Мне здесь довольно плохо»	88
Глава четвертая. «Работа, слава Богу, трудна и почти приятна»	116
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Кай Берд, Мартин Дж. Шервин Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея

*Посвящается Сюзан Голдмарк и Сюзан Шервин,
а также памяти Ангуса Кэмерона и Жана Майера*

*Современные Прометеи еще раз совершили набег
на Олимп и вернули людям похищенные у Зевса
молнии.*

«Сайентифик мансли». Сентябрь 1945 года

*Прометей украл у богов огонь и передал людям.
Когда Зевс узнал об этом, он приказал Гефесту
пригвоздить тело Прометея к Кавказскому хребту.
Там, прикованный к скале, Прометей простоял
связанным очень много лет, и каждый день
орел, прилетая, выклевывал ему лопасти печени,
которые за ночь отрастали вновь¹.*

*Аполлодор. Мифологическая библиотека. Книга I:7. II
век до н. э.*

Kai Bird and Martin J. Sherwin
AMERICAN PROMETHEUS:

The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer

© Kai Bird and Martin J. Sherwin, 2005

© Школа перевода В. Баканова, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023



Издательство АСТ
Москва

Предисловие

За четыре дня до Рождества 1953 года жизнь Роберта Оппенгеймера – карьера, доброе имя, даже собственная оценка своих заслуг – полетела в тартарары. «Со мной происходят невероятные вещи!» – воскликнул Роберт, глядя в окно машины, несущей его к дому адвоката в Джорджтауне, Вашингтон, округ Колумбия. Через несколько часов ему предстояло принять судьбоносное решение. Уйти с должностей консультанта в различных государственных ведомствах? Или оспорить обвинения, перечисленные в письме, которое Льюис Стросс, председатель Комиссии по атомной энергии (КАЭ), неожиданно-негаданно вручил ему после полудня? Письмо сообщало, что после повторного рассмотрения его позиций и предлагаемых им рекомендаций был сделан вывод о его неблагонадежности, и содержало список обвинений из тридцати четырех пунктов – от дурацкого «вы были завербованы в 1940 году как спонсор “Друзей китайского народа”» до политического «начиная с осени 1949 года вы категорически возражали против создания водородной бомбы».

Странное дело, но с самого момента ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Оппенгеймер не мог избавиться от предчувствия, что над ним сгущаются грозовые тучи. Несколькими годами ранее, в конце 1940-х, к моменту, когда он достиг в американском обществе поистине звезд-

ного статуса наиболее заслуженного и уважаемого ученого и советника по вопросам государственной политики своего поколения и даже попал на обложки журналов «Тайм» и «Лайф», Оппенгеймер прочитал короткую повесть Генри Джеймса «Зверь в чаше». Он был совершенно потрясен историей одержимости и болезненного себялюбия главного героя, которого преследовало ощущение собственной предопределенности «для чего-то необыкновенного, разительного, возможно даже – ужасного, чудовищного, и что рано или поздно недоброе предчувствие сбудется»². Чем бы ни явилось это событие, Роберт заранее знал, что оно его «сокрушит».

По мере нарастания в послевоенной Америке волны антикоммунизма Оппенгеймер чувствовал, что «зверь в чаше» подкрадывается все ближе и ближе. Вызовы на слушания в занятые охотой на «красных» комитеты конгресса, «жучки» ФБР в домашних и офисных телефонах, лживые вбросы в прессе, порочащие его политическую репутацию и рекомендации, вызывали у него ощущение преследования. Участие в левом движении 1930-х годов в Беркли в сочетании с послевоенным сопротивлением планам ВВС массированных ядерных бомбардировок, которые он назвал геноцидом, раздражали многих влиятельных вашингтонских инсайдеров, среди них – директора ФБР Джона Эдгара Гувера и Льюиса Стросса.

² Перевод Э. Линецкой.

В тот вечер в джорджтаунском доме Герберта и Энн Маркс наступило время взвесить шансы. Герберт был не только адвокатом, но и близким другом Оппенгеймера. Жена Герберта, Энн Уилсон Маркс, когда-то работала у Роберта секретаршей в Лос-Аламосе. В тот вечер, по наблюдениям Энн, их друг находился «на грани отчаяния». И все же после длительного обсуждения Оппенгеймер решил – не столько по убеждению, сколько от неизбежности, что, какой бы нечестной ни была игра, обвинения нельзя оставить без ответа. Поэтому они с Гербертом написали письмо «дорогому Льюису». В нем Оппенгеймер указал на призыв Стросса к добровольному увольнению. «В качестве приемлемой альтернативы вы предлагаете, чтобы я в одностороннем порядке расторгнул контракт консультанта Комиссии [по атомной энергии] и таким образом избежал бы публичного рассмотрения обвинений...» Оппенгеймер сообщил, что тщательно взвесил этот вариант. Однако «в сложившихся обстоятельствах, – продолжал он, – такой порядок действий означал бы, что я признаю и согласен с тем, что не пригоден к государственной службе, на которой я состоял последние двенадцать лет. Я не могу этого сделать. Будь я столь низок, я вряд ли бы мог служить моей стране так, как я служил, стать директором Института [перспективных исследований] в Принстоне и не единожды выступать от имени нашей науки и нашей страны».

К концу вечера Роберт устал и пришел в уныние. Вы-

пив пару бокалов спиртного, он поднялся наверх в гостевую спальню. Через несколько минут Энн, Герберт и жена Роберта Китти, приехавшая в Вашингтон вместе с мужем, услышали «страшный грохот». Прибежав наверх, они застали спальню пустой, а дверь в санузел запертой изнутри. «Я не могла ее открыть, – рассказывала потом Энн, – а Роберт не отвечал».

Ученый потерял сознание, заблокировав своим туловищем вход. Постепенно хозяева дома отодвинули дверью обмякшее тело гостя в сторону. Когда Роберт пришел в себя, то, по воспоминаниям Энн, «что-то мямлил». Он признался, что принял таблетки снотворного, выписанного для жены. «Не давайте ему заснуть», – предупредил по телефону врач. Почти час, дожидаясь приезда врача, они гуляли с Робертом по дому и отпаивали его кофе.

«Зверь», выслеживавший Роберта, наконец прыгнул. Начались тяжелые испытания, положившие конец его карьере, но странным образом укрепившие его репутацию и обеспечившие ему добрую память предков.

Путешествие Роберта из Нью-Йорка до Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, от неизвестности к славе, ознаменовалось участием в великих схватках и победах горячей и холодной войны XX века в области науки и социальной справедливости. Его жизнь направляли выдающийся интеллект, родители, учителя Школы этической культуры и юношеские

впечатления. Свое профессиональное развитие Роберт начал в 1920-е годы в Германии, где изучал квантовую физику – новую науку, которую он полюбил и всячески пропагандировал. В 1930-е годы, когда он создавал лучший в Соединенных Штатах научный центр при Калифорнийском университете в Беркли, его глубоко волновали последствия Великой депрессии у себя дома и разгул фашизма за рубежом. Он активно сотрудничал с друзьями – среди них было много как попутчиков, так и настоящих коммунистов – в борьбе за экономическое и расовое равноправие. Это были лучшие годы его жизни. Десятилетие спустя эти же события были использованы, чтобы заткнуть ему рот, – хорошее напоминание о том, как нелегко удержать баланс демократических принципов, которых мы придерживаемся, и как тщательно их следует оберегать.

Травля и унижения, пережитые Оппенгеймером в 1954 году в разгар маккартизма, обрушились не на него одного. Однако он был наиболее известной их жертвой. Оппенгеймер стал Прометеем Америки, «отцом атомной бомбы», возглавившим борьбу за то, чтобы вырвать у природы страшный солнечный огонь и обратить его на службу стране в лихое военное время. Потом Роберт прозорливо оценит исходящую от него угрозу, не теряя надежды на потенциальную пользу, и наконец начнет отчаянно критиковать планы ядерной войны, принятые военными и поддержанные кабинетными стратегами: «Как относиться к цивилизации, всегда считавшей

этику непреременной частью жизни человека, но не способной обсуждать перспективу уничтожения практически всего живого кроме как языком умствования и теории игр?»

В конце 1940-х годов, после охлаждения американско-советских отношений, настойчивое стремление Оппенгеймера ставить столь щекотливые вопросы сильно тревожило вашингтонский истеблишмент, отвечавший за национальную безопасность. В 1953 году в Белый дом вернулись республиканцы, и у рычагов власти в Вашингтоне встали сторонники массивного ядерного возмездия – такие, как Льюис Стросс. Стросс и его соратники вознамерились заткнуть рот человеку, который, как они опасались, в одиночку мог развенчать их политику.

Нападая на политические взгляды и профессиональные суждения Оппенгеймера, на его жизнь и ценности, его критики вскрыли в 1954 году многие противоречия в характере ученого: амбициозность и неуверенность в себе, гениальность и наивность, настойчивость и пугливость, стоицизм и растерянность. Много можно почерпнуть из более тысячи напечатанных плотным шрифтом страниц досье совета КАЭ по кадровой безопасности под названием «Дело Дж. Роберта Оппенгеймера». В то же время расшифровка стенограмм слушаний показывает, как мало противники Оппенгеймера сумели преодолеть эмоциональную броню этого непростого человека, которой он окружил себя с ранней молодости. «Американский Прометей» исследует загадочную лич-

ность, скрывающуюся за этой броней, прослеживая жизненный путь Роберта с раннего детства в нью-йоркском районе Верхний Вест-Сайд в начале XX века до его смерти в 1967 году. Эта глубоко личная биография исследована и написана с верой в то, что общественное поведение человека и его политические решения (а в случае с Оппенгеймером и научные тоже) диктуются личными впечатлениями, накапливаемыми в течение всей жизни.

«Американский Прометей» четверть века создавался на основе многих тысяч страниц документов из архивов и личных собраний в США и за рубежом. В создании книги использовано обширное письменное наследие самого Оппенгеймера, хранящееся в Библиотеке конгресса, и тысячи страниц из досье ФБР, накопившиеся за четверть века слежки. Мало кто из публичных фигур подвергался столь дотошной проверке. Читатели «услышат» зафиксированные звукозаписывающей аппаратурой ФБР и транскрибированные слова Роберта. Даже архивные записи рассказывают о человеке не всю правду, поэтому мы взяли интервью у сотен близких друзей, родственников и коллег Оппенгеймера. Многих из тех, кто отвечал на наши вопросы в 1970-е и 1980-е годы, больше нет в живых, однако рассказанные ими истории рисуют подробный портрет удивительного человека, который ввел нас в ядерный век и безуспешно боролся – как до сих пор пытаемся бороться мы сами – за то, чтобы навсегда

устранить угрозу ядерной войны.

История жизни Оппенгеймера напоминает, что наша сегодняшняя идентичность остается тесно связанной с культурой атома. «С 1945 года бомба владеет нашим сознанием, – писал Э. Л. Доктороу. – Сначала она стала нашим оружием, затем – нашей дипломатией, а сейчас она воплощена в нашей экономике. Да и можем ли мы помыслить, что нечто чудовищно мощное после прошедших многих лет не составляет существо нашей идентичности? Великий голем, сотворенный нашими руками против наших врагов, и есть наша культура, наша культура бомбы – ее логика, ее вера, ее прозрение». Оппенгеймер мужественно стремился оторвать нас от культуры бомбы посредством сдерживания ядерной угрозы, которую сам же помог выпустить на волю. Его наиболее выдающимся вкладом стал план передачи ядерной энергии под международный контроль, получивший известность как «Доклад Ачесона – Лилиенталя» (на самом деле его почти полностью составил и написал Оппенгеймер). Доклад остается уникальным образцом рационального подхода ядерного века.

Увы, внутренняя и внешняя политика времен холодной войны обрекла этот план на провал, и Америка вместе с другими странами на следующие полвека возвела бомбу в культ. С окончанием холодной войны угроза взаимного ядерного уничтожения, казалось бы, миновала, однако по иронии судьбы угроза ядерной войны и ядерного терроризма в XXI

веке стоит острее прежнего.

В эпоху, наступившую после 11 сентября, стоит вспомнить, что отец атомной бомбы еще на заре ядерного века предупреждал нас: бомба, будучи оружием неизбежно-го устрашения, немедленно сделала Америку более уязвимой к неспровоцированному нападению. Когда его спросили на закрытом слушании в Сенате в 1946 году, «способны ли три-четыре человека тайно ввезти [атомную] бомбу частями в Нью-Йорк и взорвать весь город», Oppenheimer четко ответил: «Разумеется, это можно сделать, и люди могут разрушить Нью-Йорк». На вопрос озадаченного сенатора: «Какой инструмент нужен, чтобы обнаружить атомную бомбу, спрятанную в городе?» – Oppenheimer съязвил: «Отвертка [чтобы вскрыть каждый ящик и каждый чемодан]». Единственной защитой от ядерного терроризма могло служить лишь полное уничтожение ядерного оружия.

Предостережения Oppenheimera были проигнорированы, потом заткнули рот и ему самому. Подобно мятежному греческому богу Прометею, укравшему огонь у Зевса и отдавшего его людям, Oppenheimer даровал нам огонь атома. Но когда он попытался взять свой подарок под контроль, открыть нам глаза на страшную опасность, власть предержавшие, как в свое время Зевс, разгневались и наказали отступника. Как писал Уорд Эванс, член дисциплинарного комитета Комиссии по атомной энергии, голосовавший против общего решения, лишение Oppenheimera секретного допуска

оставило «черное пятно на гербовом щите нашей страны».

Пролог

Черт, так уж вышло, что я влюблен в эту страну.

Роберт Оппенгеймер

Принстон, Нью-Джерси, 25 февраля 1967 года. Несмотря на обещанную бурю и лютый холод, охвативший Северо-Восток, шесть сотен друзей и коллег, нобелевские лауреаты, политики, генералы, ученые, поэты, писатели, композиторы и знакомые из разных слоев общества собрались, чтобы помянуть жизнь и оплакать смерть Дж. Роберта Оппенгеймера. Некоторые помнили его как терпеливого учителя и с нежностью называли Оппи. Другие знали его как великого физика, человека, ставшего в 1945 году «отцом» атомной бомбы, национального героя и блестящий образец ученого на службе государства. Все с горечью помнили: всего через девять лет после создания бомбы новая республиканская администрация президента Дуайта Д. Эйзенхауэра объявила, что Роберт Оппенгеймер представляет собой угрозу национальной безопасности, из-за чего ученый стал самой известной жертвой антикоммунистической охоты на ведьм в США. Гости собрались с тяжелым сердцем почтить память гения, познавшего в своей удивительной жизни как триумфы, так и трагедии. Нобелевские лауреаты были представлены всемирно из-

вестными физиками Исидором А. Раби, Юджином Вигнером, Джулианом Швингером, Ли Чжэндао и Эдвином Макмилланом. Дочь Альберта Эйнштейна Марго приехала почтить память бывшего начальника ее отца в Институте перспективных исследований. Приехал и Роберт Сербер, учившийся у Оппенгеймера в Беркли в 1930-е годы, близкий друг и ветеран Лос-Аламоса, а также великий физик из Корнеллского университета Ханс Бете, нобелевский лауреат, исследователь «внутренней кухни» Солнца. Эрва Денхэм Грин, соседка с тихого карибского острова Сент-Джон, где после публичного унижения 1954 года Оппенгеймеры построили пляжный коттедж, бок о бок сидела со светилами американской внешней политики – юристом и советником многих президентов Джоном Дж. Макклоем, военным руководителем Манхэттенского проекта, генералом Лесли Р. Гровсом, министром ВМС Полом Нитце, лауреатом Пулитцеровской премии, историком Артуром Шлезингером и сенатором от Нью-Джерси Клиффордом Кейсом. Президент США Линдон Б. Джонсон прислал своего консультанта по науке Дональда Ф. Хорнига, ветерана Лос-Аламоса, который присутствовал вместе с Оппенгеймером на испытаниях первой в истории атомной бомбы под кодовым названием «Тринити» 16 июля 1945 года. Ряды ученых и вашингтонских элитариев перемежали литераторы и деятели культуры – поэт Стивен Спендер, писатель Джон О’Хара, композитор Николай Набоков, директор балетной труппы Нью-Йорка Джордж Балан-

чин.

Во время сдержанной панихиды в первом ряду актового зала «Александр-холл» Принстонского университета сидела вдова ученого Кэтрин «Китти» Пюнинг Оппенгеймер. Ее сопровождали дочь Тони двадцати двух лет и сын Питер двадцати пяти лет. Место рядом с Питером занимал младший брат Роберта Фрэнк Оппенгеймер, чья карьера физика тоже утонула в водовороте маккартизма.

В зале прозвучали «Заупокойные песнопения» Игоря Стравинского, с чьим творчеством Роберт впервые познакомился в этом самом зале осенью предыдущего года. Затем Ханс Бете, знавший Оппенгеймера тридцать лет, произнес первую из трех траурных речей. «Он совершил больше любого другого человека, – сказал Бете, – для величия американской теоретической физики. <...> Он был лидером. <...> Но не ставил себя выше других, никогда не навязывал свою волю. Он помогал нам раскрыть свой потенциал, играя роль доброго хозяина, принимающего гостей...» В Лос-Аламосе Оппенгеймер вел за собой тысячи сотрудников в неформальном соревновании с немцами за то, чтобы первыми создать атомную бомбу, превратил девственное плоскогорье в лабораторию, а разношерстную группу ученых – в слаженную команду. Бете и другие ветераны Лос-Аламоса хорошо знали, что без Оппенгеймера пресловутую «штучку», изготовленную в Нью-Мексико, не успели бы закончить вовремя до окончания войны.

Вторую траурную речь произнес Генри Девульф Смит, физик и сосед Роберта по Принстону. В 1954 году этот ученый был единственным из пяти членов Комиссии по атомной энергии, кто проголосовал за возвращение Оппенгеймеру секретного допуска. В качестве непосредственного участника закрытого слушания о секретном допуске Смит мог наблюдать вблизи, через какое издевательство пришлось пройти Оппенгеймеру: «Такое зло невозможно исправить, такое пятно на нашей истории невозможно вывести. <...> Мы сожалеем, что его так скверно отблагодарили за великий труд на благо страны...»

Наконец настал черед выступления Джорджа Кеннана, ветерана дипломатии, бывшего посла, отца послевоенной американской политики сдерживания Советского Союза, давнего друга и соратника Оппенгеймера по Институту перспективных исследований. Ни один человек не повлиял на представления Кеннана о бесчисленных угрозах ядерного века больше, чем Оппенгеймер. В нем Кеннан нашел лучшего друга, взявшего под защиту его труд и приютившего его в Институте, когда несогласие с американской политикой периода холодной войны сделало его парией в Вашингтоне.

«Дилеммы, вызванные победами человечества над силами природы, не подкрепленные нравственной твердостью, – сказал Кеннан, – жестоко давили на него, как ни на кого другого. Никто не видел угрозу человечеству, порожденную этим растущим несоответствием, лучше него. Эта тревога ни

разу не поколебала его веры в важность поиска истины – и научной, и общечеловеческой. В то же время не было другого человека, более горячо желающего предотвратить катастрофу, к которой грозила привести разработка оружия массового поражения. Роберт заботился об интересах всего человечества, однако наибольшую возможность для осуществления этих устремлений видел в своем статусе американского гражданина, сына великой нации.

Когда в темные времена в начале пятидесятых его со всех сторон осаждали неприятности и он находился в эпицентре конфликта, я высказал мнение, что его бы с радостью приняли в любом из сотен научных центров за рубежом, и спросил, не задумывался ли он о переезде. Со слезами на глазах он ответил: “Черт, так уж вышло, что я влюблен в эту страну”³».

Роберт Оппенгеймер был загадкой, физиком-теоретиком, выдающимся харизматичным лидером и одновременно эстетом, предпочитающим прямоте недосказанность. За десятилетия, прошедшие после его смерти, историю жизни Оппенгеймера окутали разногласия, мифы и загадки. Для коллег, как например доктора Хидэки Юкавы, первого японского нобелевского лауреата, Оппенгеймер служил «символом трагической судьбы современного ученого-ядерщика». Для

³ Кеннан был глубоко тронут энергичной реакцией Оппенгеймера. Бывший дипломат пересказал эту историю в 2003 году, отмечая сотую годовщину со дня рождения. На этот раз слезы стояли в его глазах. – *Примеч. авторов.*

либералов он был самой выдающейся жертвой маккартистской охоты на ведьм, символом гнусной травли со стороны правых. Политические противники считали его тайным коммунистом и патентованным лжецом.

Роберт Оппенгеймер был чрезвычайно гуманным человеком, талантливым и в то же время сложным, в равной мере блестящим и наивным, страстным поборником социальной справедливости и неутомимым советником на службе государства. Вместе с тем приверженность идее обуздания безудержной гонки ядерных вооружений создала ему влиятельных врагов в рядах государственной бюрократии. Как говорил его друг Исидор Раби, Роберт, «будучи мудрым, при этом вел себя очень глупо».

Физик Фримен Дайсон находил в Оппенгеймере глубокие, острые противоречия. Роберт посвятил свою жизнь науке и рациональному мышлению. И все же, по наблюдениям Дайсона, решение Оппенгеймера участвовать в создании оружия массового истребления, по сути – геноцида, выглядело как «делка Фауста с дьяволом. <...> И мы, разумеется, от нее так и не избавились...». Подобно Фаусту, Оппенгеймер попытался изменить правила сделки и был отринут. Он возглавил работу по высвобождению энергии атома, но, когда попытался предостеречь соотечественников от связанной с ней угрозы и добиться, чтобы Америка меньше полагалась на ядерные вооружения, правительство поставило под сомнение его благонадежность и устроило над ним суд. Дру-

зья сравнивали публичное унижение Оппенгеймера с судилищем, устроенным в 1633 году церковными мракобесами над еще одним ученым – Галилео Галилеем. Другие увидели в этом событии мерзкий отголосок антисемитизма и проводили параллель с делом капитана Альфреда Дрейфуса 90-х годов XIX века.

Однако ни то, ни другое сравнение не помогают полностью понять Роберта Оппенгеймера как личность, его научные достижения и уникальную роль архитектора ядерной эпохи. Это помогает сделать история его жизни.

Часть первая



Глава первая. «*Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство*»

Я был до отвращения хорошим, сладеньким мальчиком.

Роберт Оппенгеймер

В первом десятилетии XX века наука раскрутила вторую американскую революцию. Двигатель внутреннего сгорания, авиация и множество других изобретений вскоре преобразили страну, в которой прежде главным средством транспорта служила лошадь. Технологические новинки быстро изменили быт простых людей. В этот же период известная лишь немногим группа ученых закладывала основы еще одной, более фундаментальной революции. Физики-теоретики по всему миру начали менять наше представление о пространстве и времени. Французский физик Анри Беккерель в 1896 году открыл радиацию. Макс Планк, Мария Кюри, Пьер Кюри и другие дополнили знания о природе атома. И наконец, в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности. Возникло ощущение, что стала другой сама Вселенная.

По всему земному шару ученых славили как героев, обещающих вот-вот начать новый золотой век рациональности,

процветания и меритократии. В Америке вызов старому порядку бросило движение за реформы. Теодор Рузвельт, используя Белый дом в качестве «кафедры проповедника», доказывал, что качественное управление обществом в союзе с наукой и прикладной технологией способно вызвать к жизни новую эпоху просвещения и прогресса.

Дж. Роберт Оппенгеймер пришел в этот окрыленный надеждами мир 22 апреля 1904 года. Он родился в семье первого и второго поколений немецких иммигрантов, стремившихся стать американцами. Хотя по этническому происхождению и культуре Оппенгеймеры были евреями, они не посещали ни одну из нью-йоркских синагог. Не отвергая еврейские корни, Оппенгеймеры решили формировать свою идентичность в исключительно американской ветви иудаизма – Обществе этической культуры, преклонявшемся перед рационализмом и светским гуманизмом прогрессивного типа. В то же время общество предлагало передовые методы решения трудностей, с которыми в Америке сталкивался любой иммигрант. В душе Роберта Оппенгеймера навсегда закрепилось двоякое отношение к своей еврейской идентичности.

Как следует из названия общества, этическая культура являлась не религией, а образом жизни, поддерживающим социальную справедливость и отвергающим стремление к богатству и власти за чужой счет. Мальчик, который впоследствии станет основоположником ядерной эпохи, вырос в культурной среде, уважавшей независимость мышления, эм-

пирическое познание и свободомыслие – по сути, те же ценности, что присущи науке. И все же по иронии судьбы жизнь Роберта Оппенгеймера, посвященная социальной справедливости, рациональному началу и науке, стала метафорой массовой гибели от ядерного смерча.

Отец Роберта, Юлиус Оппенгеймер, родился 12 мая 1871 года в немецком городе Ханау на востоке от Франкфурта. Отец Юлиуса, Бенъямин Пинхас Оппенгеймер, никогда не учившийся в школе крестьянин, торговавший зерном, вырос в деревенской лачуге, напоминавшей, как потом писал Роберт, «германское средневековье». У Юлиуса имелись двое братьев и три сестры. В 1870 году двоюродные братья Бенъямина, Зигфрид и Соломон Ротфельды, женившись, эмигрировали в Нью-Йорк. Вместе с еще одним родственником, Й. Х. Штерном, эти два молодых человека основали компанию, импортировавшую подкладку для мужских костюмов. Компания процветала, успешно снабжая бурно растущую городскую торговлю готовой одеждой. В конце 80-х годов XIX века Ротфельды сообщили Бенъямину Оппенгеймеру, что в компании найдется место и для его сыновей.

Юлиус прибыл в Нью-Йорк весной 1888 года, через несколько лет после старшего брата Эмиля. Высокого, тощего, неуклюжего парня определили на склад сортировать ткань в рулонах. Хотя Юлиус не внес денег в капитал компании и не говорил ни слова по-английски, он был полон

решимости выбиться в люди. Новый работник умел хорошо подбирать цвета и со временем приобрел репутацию одного из самых сведущих «суконщиков» города. Эмиль и Юлиус благополучно пережили кризис 1893 года. К началу XX века Юлиус приобрел в фирме «Ротфельд, Штерн и компания» статус полноправного партнера. Одевался тоже по чину – в неизменную белую сорочку со стоячим воротничком, консервативный галстук и деловой костюм темной расцветки. Манеры изысканностью не уступали платью. По общему мнению, Юлиус был приятным молодым человеком. «Ваше обращение сразу же вызывает крайнюю степень доверия, – писала его будущая жена в 1903 году, – причем в лучшем, благородном смысле». К тридцатилетнему возрасту Юлиус на удивление хорошо говорил по-английски и без чьей-либо помощи приобрел широкие познания в американской и европейской истории. Будучи большим любителем искусства, по выходным дням он проводил свободное время в многочисленных арт-галереях.

Вероятно, в одно из таких посещений его и представили молодой художнице Элле Фридман, «изысканно-красивой» брюнетке с тонкими, точеными чертами лица, «выразительными серо-голубыми глазами и длинными черными ресницами», стройной фигурой и... от рождения деформированной кистью правой руки. Чтобы скрыть изъян, Элла постоянно носила одежду с длинными рукавами и пару замшевых перчаток. Под перчаткой на правой руке скрывался неза-

тейливый протез с искусственным большим пальцем на пружине. Юлиус влюбился в художницу. Семейство Фридманов происходило из баварских евреев и обосновалось в Балтиморе еще в 40-е годы XIX века. Элла родилась в 1869 году. Друг семьи однажды описал ее как «кроткую, изысканную, худую, довольно высокую, голубоглазую женщину, ужасно чувствительную, крайне вежливую, постоянно думающую о том, как лучше устроить жизнь других людей и сделать их счастливыми». В двадцатилетнем возрасте она год прожила в Париже, изучая искусство импрессионистов. После возвращения преподавала искусство в Барнардском колледже. Ко времени встречи с Юлиусом Элла уже состоялась как художница, имела своих учеников и частную студию на крыше высотного жилого здания в Нью-Йорке.

Все это мало напоминает образ женщины на рубеже веков, однако Элла была яркой личностью во многих отношениях. Ее церемонные, изысканные манеры при первой встрече производили на некоторых впечатление надменной холодности. Ее энергия и самодисциплина в студии и дома выглядели чрезмерными для дамы, не испытывающей недостатка в материальных удобствах. Юлиус боготворил жену, Элла отвечала взаимностью на его любовь. За несколько дней до замужества она написала своему жениху следующие строки: «Я так хочу, чтобы ты получил возможность вкусить жизнь в самом лучшем и полном смысле. Ты поможешь мне позаботиться о тебе? Забота о человеке, которого по-настоящему

любишь, заключает в себе неопишемую сладость, которую не отнимет у меня даже самая долгая жизнь. Спокойной ночи, мой дорогой».

Юлиус и Элла вступили в брак 23 марта 1903 года и переехали в каменный дом с остроконечным фронтоном по адресу 94-я Западная улица, дом № 250. Через год в середине самой холодной за всю историю наблюдений весны тридцатичетырехлетняя Элла после тяжелой беременности родила сына. Юлиус заранее решил назвать первенца Робертом, однако в последний момент, согласно семейному преданию, решил добавить к имени инициал «Дж». В метрике полное имя мальчика указано как «Джулиус Роберт Оппенгеймер», что свидетельствует о присвоении ребенку имени отца (изменено на американский манер). На первый взгляд ничего особенного, если не учитывать, что присвоение ребенку имени *живого* родственника шло вразрез с еврейским обычаем. Как бы то ни было, все всегда звали мальчика Робертом и, что любопытно, сам он неизменно настаивал, что первый инициал его имени ничего не означает. Скорее всего в доме Оппенгеймеров еврейским обычаям не придавали никакого значения.

Вскоре после рождения Роберта Юлиус перевез семью в просторную квартиру на одиннадцатом этаже дома № 155 на Риверсайд-драйв, выходящую окнами на реку Гудзон и 88-ю Западную улицу. Квартиру, занимавшую весь этаж, обставили лучшей европейской мебелью. За несколько лет Оп-

пенгеймеры собрали замечательную коллекцию подобранных Эллоу полотен постимпрессионистов и фовистов. К тому времени когда Роберт вырос в молодого мужчину, в коллекцию входили картина 1901 года из «голубого периода» Пабло Пикассо «Мать и дитя», офорт Рембрандта, картины Эдуара Вюйара, Андре Дерена и Пьера Огюста Ренуара. Три картины Винсента Ван Гога – «Огороженное поле с восходящим солнцем» (Сен-Реми, 1889), «Первые шаги (по работе Милле)» (Сен-Реми, 1889) и «Портрет Аделины Раву» (Овер-сюр-Уаз, 1890) – занимали центральное место в гостиной, оклеенной золочеными обоями. Позднее семья приобрела рисунок Поля Сезанна и картину Мориса де Вламинка. Богатую коллекцию дополнил бюст французского скульптора Шарля Деспю⁴.

Элла управляла домашним хозяйством твердой рукой. Маленькому Роберту не раз приходилось слышать фразу: «Совершенство и целеустремленность». Три надомные горничные содержали квартиру в идеальной чистоте. За Робертом присматривала нянька-католичка из Ирландии по имени Нелли Коннолли, потом – гувернантка-француженка, немного научившая его говорить по-французски. А вот на немецком языке в семье не говорили. «Мать плохо его знала, – вспоминал Роберт, – [а] мой отец не верил в его нуж-

⁴ Оппенгеймеры потратили на произведения искусства целое состояние. Например, в 1926 году Юлиус заплатил за «Первые шаги» Ван Гога 12 900 долларов. – *Примеч. авторов.*

ность». Немецкий язык Роберт выучил уже в школе.

В выходные дни семья каталась по сельским дорогам в «паккарде», управляемом шофером в серой форме. Когда Роберту исполнилось одиннадцать или двенадцать лет, Юлиус купил летний дом приличных размеров в Бей-Шор на острове Лонг-Айленд, где его сын учился ходить под парусом. У причала чуть пониже дома стояла двенадцатиметровая парусная яхта, которую Юлиус назвал «Лорелея», – роскошное судно, оснащенное всеми удобствами. «Жизнь у залива была прекрасна, – впоследствии вспоминал брат Роберта Фрэнк. – Семь акров... большой огород и много-много цветов». Один из друзей семьи потом говорил: «Родители души не чаяли в Роберте. <...> Он получал все, что хотел. Не будет ошибкой сказать, что он вырос в роскоши». Тем не менее ни один из друзей детства не считал его баловнем. «Роберт был невероятно щедр в отношении денег и вещей, – отзывался Гарольд Чернис. – Он отнюдь не был избалованным ребенком».

К началу Первой мировой войны в Европе в 1914 году Юлиус Оппенгеймер стал преуспевающим бизнесменом. Его состояние оценивалось в несколько сотен тысяч долларов, что в пересчете на нынешние доллары делает его мультимиллионером. По всеобщим отзывам, брак четы Оппенгеймеров был основан на любви. И все же друзей Роберта всегда удивляла совершенная непохожесть характеров его отца и матери. «Он [Юлиус] был жизнерадостным немецким евреем, – вспоминал один из самых близких друзей Роберта

Фрэнсис Фергюссон, – невероятно обаятельным человеком. Я был удивлен, что мать Роберта вышла за него замуж – таким открытым и смешливым он казался. И все-таки она его очень любила и прекрасно с ним обращалась. Они оба очень любили друг друга. Это был превосходный брак».

Юлиус был экстравертом и обожал разговоры. Любил искусство и музыку, считая Героическую симфонию Бетховена «одним из величайших шедевров». Друг семьи философ Джордж Боас впоследствии вспоминал, что Юлиусу «была присуща тонкость восприятия обоих его сыновей». Боас считал отца Роберта одним из добрейших людей, которых он когда-либо встречал. Иногда к смущению детей Юлиус вдруг начинал распевать за обеденным столом. Любил поспорить. Элла, наоборот, вела себя тихо и никогда не участвовала в шуточных пикировках. «Она [Элла] была очень утонченной личностью, – сообщил еще один друг Роберта, известный писатель Пол Хорган, – ...с очень приглушенной эмоциональностью и всегда вела себя за столом и в других местах с крайней изысканностью и приличием, однако [оставалась] грустной натурой».

Через четыре года после рождения Роберта Элла родила еще одного сына – Льюиса Фрэнка Оппенгеймера, однако младенец вскоре умер от стеноза привратника желудка – врожденной обструкции прохода между желудком и тонкой кишкой. От горя Элла выглядела еще более хрупкой. Роберт в детстве часто болел, отчего мать чрезмерно его опекала.

Опасаясь микробов, она держала сына подальше от других детей. Ему не разрешалось покупать еду у разносчиков на улице; вместо того чтобы отправить его в парикмахерскую, парикмахера вызывали на дом.

Замкнутый по натуре и физически неразвитый Роберт провел раннее детство в уютном одиночестве маминого гнезда на Риверсайд-драйв. Между матерью и сыном навсегда установились глубокие отношения. Элла поощряла в Роберте художника, и он писал пейзажи, но, поступив в колледж, бросил живопись. Роберт боготворил мать. В то же время Элла умела настоять на своем. «Эта женщина, – вспоминал один друг семьи, – никогда не позволяла говорить за столом о чем-либо неприятном».

Роберт быстро сообразил, что матери не нравятся знакомые отца из мира торговли и коммерции. Разумеется, большинство деловых партнеров Юлиуса были евреями в первом поколении; Элла давала сыну понять, что ее коробит от их «навязчивости». Роберт больше других мальчишек рос, колеблясь между строгими порядками матери и компанейскими замашками отца. Иногда он стыдился отцовской непосредственности и одновременно чувствовал себя виноватым за то, что испытывал стыд. «Велеречивые и подчас шумные проявления гордости Юлиуса за своего сына страшно раздражали Роберта», – вспоминает один друг детства. Уже повзрослев, Роберт подарил своему другу и бывшему учителю Герберту Смиту красивую гравюру со сценой из «Кориола-

на» Шекспира – герой отрывал от себя руки матери. Смит не сомневался, что Роберт намекал, как трудно ему далась разлука со своей матерью.

Когда ему было пять или шесть лет, Элла заставляла сына учиться игре на фортепиано. Роберт послушно упражнялся каждый день, ненавидя это занятие всей душой. Прошло около года, и он заболел. Мать, как водится, заподозрила худшее – детский паралич. Ухаживая за сыном, она каждый день спрашивала, как он себя чувствует, пока Роберт однажды не глянул на нее с кровати и не пробурчал: «Как во время урока музыки». Элла сдалась, занятия фортепиано прекратились.

В 1909 году, когда Роберту было всего пять лет, Юлиус взял его с собой в первое из четырех трансатлантических путешествий погостить у деда Беньямина в Германии. Отец и сын повторили вояж два года спустя. К тому времени Беньямину шел семьдесят шестой год, и все же дед произвел на внука неизгладимое впечатление. «Я понял, – вспоминал потом Роберт, – что одним из его любимых в жизни занятий было чтение, хотя он почти не учился в школе». Однажды, наблюдая, как Роберт играет в кубики, Беньямин решил подарить мальчику энциклопедию архитектуры. Дед также подарил ему «совершенно обыкновенную» коллекцию минералов – ящик с двумя десятками образцов с этикетками на немецком языке. «С этого момента, – вспоминал Роберт, – я, как это свойственно детям, превратился в азартного коллекционера». Вернувшись в Нью-Йорк, он уговорил отца взять

его на «охоту за минералами» в Палисейдс. Вскоре в квартире на Риверсайд-драйв негде было повернуться от образцов. Каждый камень был аккуратно помечен биркой с его научным названием. Юлиус поощрял затворническое хобби сына, подбрасывая ему книги по минералогии. Намного позже Роберт признался, что геологическое происхождение камней не вызывало у него интереса, его больше привлекали кристаллические структуры и поляризация света.

В возрасте с семи до двенадцати лет у Роберта были три домашних увлечения – минералогия, поэзия и конструирование из кубиков. Впоследствии он вспоминал, что тратил время на эти занятия «не для того, чтобы заполнить одиночество, или потому, что это было связано с учебой в школе, а просто так». В двенадцать лет он научился пользоваться семейной пишущей машинкой и переписывался с местными именитыми геологами о минеральных отложениях, которые исследовал в Центральном парке. Один из партнеров по переписке, не зная, что ему писал ребенок, порекомендовал принять Роберта в нью-йоркский клуб минерологов; вскоре мальчик получил письмо с приглашением прочитать в клубе лекцию. Испугавшись перспективы выступления перед взрослыми, Роберт умолял отца объяснить членам клуба, что они прислали письмо двенадцатилетнему мальчишке. Приятно удивленный Юлиус ободрил сына и убедил его принять приглашение. В назначенный вечер Роберт явился в клуб вместе с родителями, гордо представившими

его полным именем – как Джулиуса Роберта Оппенгеймера. Опешившие геологи и любители – коллекционеры минералов расхохотались, увидев на сцене подростка. Оратору пришлось встать на деревянный ящик; в противном случае из-за трибуны был виден лишь вихор жестких черных волос. Преодолевая застенчивость и неловкость, Роберт все же зачитал подготовленные заметки, сорвав бурные аплодисменты.

Юлиус без колебаний поощрял взрослые увлечения сына. Отец и мать понимали, что в семье растет «гений». «Они обожали его, переживали за него и берегли его, – вспоминала двоюродная сестра Роберта Бабетта Оппенгеймер. – Ему давали любую возможность развивать свои наклонности, не торопя события». Как-то раз Юлиус подарил сыну профессиональный микроскоп, который быстро стал для него любимой игрушкой. «Мне кажется, что мой отец был одним из самых терпимых и человечных людей в мире, – вспомнит Роберт через много лет. – Прежде чем что-то сделать для человека, он всегда сначала позволял ему самому определиться, чего он хочет». Чего хотел Роберт, нетрудно было угадать: с раннего возраста мальчик жил в мире книг и науки. «Он был мечтателем, – писала Бабетта Оппенгеймер, – и его не привлекала суматошная жизнь сверстников... его часто дразнили и высмеивали за непохожесть на других детей». Когда Роберт подрос, его «ограниченный интерес» к играм сверстников временами тревожил даже мать. «Я знаю, что она – без особого успеха – пыталась сделать меня похожим на других

мальчиков», – говорил он.

В 1912 году, когда Роберту было восемь лет, Элла родила еще одного сына – Фрэнка Фридмана Оппенгеймера и переключила основное внимание на новорожденного. Мать Эллы переехала в квартиру на Риверсайд-драйв и некоторое время жила с семьей. Она умерла, когда Роберт достиг подросткового возраста. Восьмилетняя разница в возрасте между братьями оставляла мало места для детского соперничества. Позже Роберт высказал мысль, что был для Фрэнка не только старшим братом, но «из-за разницы в возрасте – отцом». Фрэнка в раннем детстве пестовали не меньше, а возможно, и больше, чем Роберта. «Если я чем-то увлекался, – вспоминал Фрэнк, – то родители немедленно это предоставляли». Когда Фрэнк в старших классах заинтересовался Чосером, Юлиус купил сыну сборник произведений поэта, изданный в 1721 году. Стоило Фрэнку проявить интерес к игре на флейте, как родители наняли давать частные уроки одного из лучших флейтистов Америки Жоржа Баррера.

Обоих мальчиков нежили и баловали, однако некоторым тщеславием обзавелся только первенец Роберт. «Я оплатил родителям за их уверенность во мне, развив в себе неприятный апломб, – признался впоследствии Роберт, – который – я убежден – отталкивал как детей, так и взрослых, имевших оплошность вступить со мной в контакт».

В сентябре 1911 года, вскоре после возвращения из вто-

рой поездки к деду Бенъямину в Германию, Роберт поступил в единственную в своем роде частную школу. За несколько лет до этого Юлиус стал активным участником Общества этической культуры. Церемонию бракосочетания между ним и Эллой проводил доктор Феликс Адлер, основатель и руководитель общества, в котором Юлиус с 1907 года служил попечителем. То, что дети должны получить начальное и среднее образование в школе общества, расположенной на Сентрал-парк-уэст, даже не обсуждалось. Девиз школы гласил: «Поступки, а не вера». Основанное в 1876 году Общество этической культуры прививало своим членам приверженность деятельности на благо общества и гуманизма: «Человек должен быть в ответе за направленность своей жизни и судьбу». Будучи порождением американского реформистского иудаизма, этическая культура сама по себе не являлась религией и прекрасно устраивала немецко-еврейскую верхушку среднего класса, большинство которой, как и Оппенгеймеры, стремилось ассимилироваться в американское общество. Феликс Адлер с группой талантливых педагогов содействовали этому процессу и определенно оказали мощное влияние – как эмоциональное, так и интеллектуальное – на формирование психики Роберта Оппенгеймера.

Феликс Адлер, сын ребе Самуила Адлера, эмигрировал в Нью-Йорк из Германии в 1857 году вместе с семьей в шестилетнем возрасте. Его отец, возглавлявший в Германии реформистское течение в иудаизме, стал раввином храма Эма-

ну-Эль, крупнейшей конгрегации реформистов в Америке. Феликс мог запросто пойти по стопам отца, однако в молодости вернулся в Германию для учебы в университете и попал под влияние новых радикальных идей о единстве Бога и ответственности человека перед обществом. Он читал труды Чарлза Дарвина, Карла Маркса и многих других немецких философов, в том числе Юлиуса Велльгаузена, отвергавшего традиционную веру в божественное происхождение Торы. Адлер вернулся в отцовскую синагогу Эману-Эль в 1873 году и выступил с проповедью «Иудаизм будущего». Чтобы выжить в современности, утверждал молодой Адлер, иудаизм должен отбросить «косный дух исключительности». Вместо того чтобы считать себя библейским «избранным народом», евреи должны выделяться заботой о нуждах общества и действиями на благо трудящихся классов.

Через три года Адлер увел за собой из иудейской общины храма Эману-Эль около четырехсот прихожан. С помощью Джозефа Селигмана и других богатых дельцов-евреев немецкого происхождения он основал новое движение, которое назвал «этической культурой». Встречи, на которых выступал Адлер, проводились по воскресным утрам под органную музыку, но без молебнов и прочих религиозных церемоний. Начиная с 1910 года, в котором Роберту исполнилось шесть лет, собрания общества проходили в красивом здании по адресу 64-я Западная улица, дом 2. Юлиус Оппенгеймер присутствовал на церемонии открытия нового зда-

ния в 1910 году. Актный зал был украшен дубовыми панелями ручной резьбы и прекрасными оконными витражами; на балконе был установлен орган фирмы «Викс». В богато украшенный актный зал приглашали выдающихся ораторов – У. Э. Б. Дюбуа, Букера Т. Вашингтона и других известных общественных деятелей.

Общество этической культуры было реформистским иудейским течением. Семена этого необычного движения были посеяны в процессе попыток элиты реформировать и интегрировать евреев из высшего класса в германское общество XIX века. Радикальные взгляды Адлера на еврейскую идентичность вызывали отклик у состоятельных еврейских бизнесменов Нью-Йорка именно потому, что эти люди все чаще сталкивались с волной антисемитизма, захлестнувшей в XIX веке американское общество. Организованная, институциональная дискриминация евреев была относительно новым явлением. Со времен Войны за независимость, когда деисты вроде Томаса Джефферсона требовали решительного отделения церкви от государства, отношение к американским евреям оставалось довольно терпимым. Однако после биржевого краха 1873 года настроения в Нью-Йорке начали меняться. Летом 1877 года, когда Джозефа Селигмана, самого богатого и известного еврея германского происхождения в Нью-Йорке, бесцеремонно не впустили в отель «Гранд Юнион» в Саратоге, еврейская община пришла в возмущение. В последующие годы перед евреями начали закрываться двери

многих заведений – не только отелей, но также общественных клубов и частных подготовительных школ.

Таким образом в конце 70-х годов XIX века Общество этической культуры Адлера своевременно предоставило еврейской общине Нью-Йорка средство для противостояния нарастающей нетерпимости. В философском плане «этическая культура» была так же пронизана деизмом и республиканством, как и революционные принципы отцов-основателей. Если революция 1776 года привела к эмансипации американских евреев, то что могло быть лучшим ответом на ханжество христиан-нативистов, как не стремление быть американцами и сторонниками республики больше самих американцев? Эта часть еврейской общины была готова предпринять дальнейшие шаги в направлении ассимиляции, но только в качестве деистов. Адлер считал концепцию еврейской нации анахронизмом. Он вскоре начал закладывать фундамент учреждения, позволявшего его сторонникам вести жизнь «эмансипированных евреев».

Адлер утверждал, что ответ антисемитизму кроется в глобальном распространении интеллектуальной культуры. Примечательно, что Адлер критиковал сионизм за уход в обособление: «Сам сионизм служит сегодня примером стремления к отделению». Для Адлера будущее евреев находилось в Америке, а не в Палестине: «Я твердо направляю свой взгляд на проблески яркого утра над Аллеганскими и Скалистыми горами, а не на свет вечера, каким бы нежным

и прекрасным он ни был, застывший над холмами Иерусалима».

Ради воплощения своего мировоззрения в реальность Адлер в 1880 году основал бесплатную школу для детей рабочих, назвав ее Школой трудового человека. Помимо обычных предметов – арифметики, истории и чтения, по настоянию Адлера школьники изучали основы искусства, драматургии, танца, а также приобретали технические навыки, способные пригодиться в обществе, переживающем период бурной индустриализации. Он верил, что в каждом ребенке заложен какой-нибудь талант. В тех, кто был лишен способностей к математике, мог открыться «дар художника, создающего вещи своими руками». Для Адлера эта идея служила «этическим зерном, и дело заключается в том, чтобы взрастить из него множество разнообразных талантов». В качестве цели декларировалось построение «лучшего мира», и, как следствие, миссией школы была объявлена «подготовка реформаторов». По мере становления школы она превратилась в витрину движения за прогрессивные педагогические реформы. Сам Адлер попал под влияние педагога и философа Джона Дьюи и его школы американского прагматизма.

Хотя Адлер не был социалистом, его душу тронуло описание отчаянного положения промышленного рабочего класса, данное Марксом в «Капитале». «Я не могу прятаться, – писал он, – от вопросов, поднимаемых социализмом». По его убеждению, трудовые классы заслуживали «справедли-

вого вознаграждения, постоянной занятости и общественно-го уважения». Рабочее движение, писал он позже, «это – этическое движение, и я на его стороне душой и телом». Профсоюзные лидеры разделяли эти настроения. Сэмюэл Гомперс, глава новой Американской федерации труда, состоял членом нью-йоркского Общества этической культуры.

По иронии судьбы к 1890 году в школе училось так много детей, что Адлер был вынужден пополнять бюджет Общества этической культуры, взимая с некоторых школьников плату за обучение. Многие элитные частные школы в это время закрывали двери перед евреями, и десятки зажиточных еврейских дельцов настойчиво просили принять своих детей в Школу трудового человека. К 1895 году Адлер ввел в школе старшие классы и переименовал ее в Школу этической культуры (несколько десятилетий спустя ее переименовали еще раз – в Филдстонскую школу). К моменту поступления в школу Роберта в 1911 году выходцы из семей рабочих составляли всего десять процентов учащихся. Тем не менее школа сохранила свой либеральный, социально-ответственный подход. Сыновья и дочери преуспевающих меценатов Общества этической культуры впитывали в себя мысль о том, что им суждено реформировать мир и первыми нести в массы этическое евангелие нового времени. Роберт был лучшим учеником в классе.

Излишне говорить, что политические пристрастия взрослого Роберта явно имеют свои корни в прогрессивном об-

разовании, полученном в удивительной школе Феликса Адлера. В детский и школьный период формирования личности Роберта мальчика окружали наставники, считавшие себя поборниками нового мира. От начала века и до окончания Первой мировой войны члены Общества этической культуры выступали агентами перемен по таким политизированным вопросам, как межрасовые отношения, права трудящихся, гражданские свободы и защита окружающей среды. Например, в 1909 году видные члены Общества этической культуры доктор Генри Москович, Джон Лавджой Эллиот, Анна Гарлин Спенсер и Уильям Солтер помогли основать Национальную ассоциацию содействию прогрессу цветного населения (НААСР). Доктор Москович сыграл не менее важную роль в организации забастовок работников швейной промышленности, происходивших с 1910 по 1915 год. Другие активисты движения основали Национальное бюро защиты гражданских свобод, предшественника Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Отвергая идею классовой борьбы, члены общества были прагматичными радикалами, готовыми сыграть активную роль в проведении общественных преобразований. Они считали, что новый мир нельзя построить без упорного труда, настойчивости и политической организации. В 1921 году, когда Роберт закончил Школу этической культуры, Адлер призывал учащихся развивать «этическое воображение» и видеть «ве-

щи не такими, как они есть, а какими должны быть»⁵.

Роберт прекрасно сознавал влияние Адлера не только на себя, но и на отца. Он без стеснения подтрунивал над Юлиусом. В семнадцать лет Роберт сочинил стихотворение по случаю пятидесятилетия отца, в котором имелись следующие строки: «...и, прибыв в Америку, проглотил доктора Адлера как нравственность, спрессованную в пилюлю».

Подобно многим американцам немецкого происхождения, доктор Адлер был глубоко огорчен и раздирался противоречиями из-за того, что Америку втянули в Первую мировую войну. В отличие от другого известного члена Общества этической культуры, редактора журнала «Нейшн» Освальда Гаррисона Вилларда, Адлер не был пацифистом. Когда немецкая подводная лодка потопила британский пассажирский лайнер «Лузитания», Адлер поддержал оснащение американских торговых судов оружием. Выступая против вступления США в боевые действия, он тем не менее призвал своих последователей проявить «безраздельную преданность» Америке после того, как администрация Вудро Вильсона в апреле 1917 года объявила войну Германии. В то же время

⁵ Несколько десятилетий спустя одноклассница Роберта Дэйзи Ньюман вспоминала: «Когда он сталкивался с трудностями из-за своего идеализма, я видела, что это было логическим следствием его превосходной образованности в области этики. Верный ученик Феликса Адлера и Джона Лавджоя Эллиота всегда поступает по совести, каким бы неразумным ни казался его выбор». (Из письма Ньюман Элис Л. Смит, 17/02/1977, архив переписки Смит, собрание Шервина). – *Примеч. авторов.*

Адлер говорил, что не может считать Германию единственной виновницей войны. Как критик германской монархии, он приветствовал крах имперского господства и распад Австро-Венгерской империи в конце войны. Но как ярый противник колониализма открыто осуждал лицемерный мирный договор победителей, лишь укрепивший британскую и французскую империи. Естественно, оппоненты немедленно обвинили его в прогерманских настроениях. В качестве попечителя общества и большого поклонника доктора Адлера Юлиус Оппенгеймер точно так же страдал от внутреннего конфликта по поводу войны в Европе и своей немецко-американской идентичности. Сведения о том, как относился к войне юный Роберт, не сохранились. Однако школьным учителем у него был Джон Лавджой Эллиот, яростный критик вступления Америки в войну.

Эллиот, родившийся в 1868 году в семье аболиционистов и вольнодумцев, стал популярной фигурой прогрессивного гуманистического движения Нью-Йорка. Высокий и мягкий в обращении, Эллиот был прагматиком, реализующим принципы этической культуры Адлера на практике. Он построил один из лучших в стране благотворительных общественных центров «Гудзонская гильдия» в Челси, районе нью-йоркской бедноты. Являясь пожизненным членом попечительского совета ACLU, Эллиот отличался политическим и личным бесстрашием. Когда в 1938 году гитлеровское гестапо арестовало в Вене двух австрийских руководителей Об-

щества этической культуры, Эллиот в возрасте семидесяти лет отправился в Берлин и несколько месяцев добивался от гестапо их освобождения. Заплатив взятку, он сумел вывезти двух активистов из нацистской Германии. После смерти Эллиота в 1942 году исполнительный директор ACLU Роджер Болдуин в траурной речи назвал его «острым на язык святым... человеком, любившим людей так сильно, что не пренебрегал самыми скромными задачами, лишь бы помочь им».

Именно этот «острый на язык святой» проводил еженедельные диалоги на уроках этики, на которых присутствовали братья Оппенгеймеры. Несколькими годами позже, когда дети выросли, Эллиот написал их отцу: «Я не знаю, насколько сумел сблизиться с вашими парнями. Но я рад, что у меня есть вы с ними». Эллиот преподавал этику на семинарах в стиле Сократа, на которых учащиеся обсуждали конкретные социально-политические вопросы. Знакомство с проблемами жизни было обязательным предметом для всех старшеклассников. Иногда он подбрасывал учащимся какую-нибудь личную нравственную дилемму – например, если бы у них был выбор между работой учителя и лучше оплачиваемой работой на фабрике жевательной резинки Ригли, чему они отдали бы предпочтение? За время учебы в школе Роберт принимал участие в дискуссиях на такие горячие темы, как «негритянская проблема», этика войны и мира, экономическое неравенство и суть «половых отношений». В вы-

пуском классе Роберт был вовлечен в широкую дискуссию о «роли государства». В учебную программу входил «краткий курс политической этики», включавший в себя «этику верности и предательства». Он получил превосходное образование в области общественных и международных отношений, пустившее глубокие корни в его душе и через несколько десятков лет принесшее обильный урожай.

«Я был до отвращения хорошим, сладеньким мальчиком, – вспоминал Роберт. – В детстве жизнь не подготовила меня к тому, что мир полон жестокости и злобы». Обеспеченное домашнее существование не позволило ему «остервенеть естественным, органическим путем». Однако оно выработало внутреннюю твердость и физический стоицизм, о которых не подозревал даже сам Роберт.

Тревожась, что сын слишком много сидит дома и проводит мало времени с детьми своего возраста, Юлиус решил отправить четырнадцатилетнего Роберта в летний лагерь. Для большинства мальчишек лагерь «Кениг» выглядел горным раем, средоточием радости и дружбы. Для Роберта он обернулся кошмаром. Почти все его черты превращали мальчика в мишень для жестоких насмешек подростков, находящихся удовольствие в травле робких, чувствительных или непохожих на них сверстников. Вскоре мальчишки прозвали его «лапочкой» и стали беспощадно высмеивать. Роберт не отвечал на нападки. Он избегал занятий спортом, предпочи-

тая одинокие прогулки и сбор минералов. У него появился друг, запомнивший, что в то лето Роберт увлекся книгами Джордж Элиот. Ему очень импонировал главный роман автора – «Мидлмарч», возможно, потому что в нем исследовалась тема, казавшаяся Роберту загадкой, – существование интуитивного разума и его воздействие на зарождение и разрыв отношений между людьми.

С другой стороны, Роберт тоже сделал ошибку – написал родителям, что рад находиться в лагере, потому что другие мальчишки учат его реалиям жизни. Письмо побудило Оппенгеймеров немедленно приехать в лагерь; в итоге заведующий объявил, что запрещает школьникам рассказывать похабные истории. Роберта неизбежно заподозрили в доносительстве, однажды ночью его затащили в ледник, разделали догола и избili. Сверстники довершили унижение, облив его ягодицы и гениталии зеленой краской. Голого Роберта заперли в леднике на всю ночь. Один из друзей назвал инцидент «пыткой». Роберт снес издевательства с молчаливым стоицизмом – он не покинул лагерь и не стал жаловаться. «Я не представляю, как Роберт выдержал последние несколько недель в лагере, – сообщает его друг. – Немногие ребята смогли бы или согласились бы это сделать, но Роберт смог. Для него это, должно быть, был сущий ад». Как заметили многие из его друзей, хрупкая и тонкая на вид скорлупа, окружавшая Роберта, на самом деле скрывала нестигаемую личность, опирающуюся на неуступчивую гордость и

твёрдость духа – качества, которые еще не раз проявят себя в течение его жизни.

В школе интеллект мальчика развивали внимательные преподаватели Общества этической культуры, тщательно отобранные доктором Адлером как пример для подражания для будущих участников прогрессивного педагогического движения. Учительница математики Матильда Ауэрбах, заметив, что Роберт скучает и вертится, отправила его в библиотеку заниматься по своему плану и потом предложила рассказать классу, что нового он узнал. Преподаватель древнегреческого и латыни Альберта Ньютон отзывалась о Роберте как о находке для учителя: «Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство». Юноша читал Платона и Гомера на древнегреческом, Цезаря, Вергилия и Горация – на латыни.

Роберт всегда получал высшие отметки. Уже с третьего класса проводил лабораторные опыты, а в пятом классе в десятилетнем возрасте начал изучение физики и химии. Стремление Роберта к изучению научных дисциплин было так велико, что хранитель Американского музея естественной истории согласился давать мальчику частные уроки. Роберт перескочил через несколько классов в школе, все считали его акселератом, а иногда – самородком. В девятилетнем возрасте он как-то сказал старшей двоюродной сестре: «Давай ты будешь задавать мне вопросы на латыни, а я буду отвечать на древнегреческом».

Одноклассникам Роберт подчас казался нелюдимым. «Мы часто встречались, – вспоминал один знакомый детства, – но так и не стали близки. Он обычно был занят каким-нибудь своим делом или мыслями». Другой одноклассник запомнил, что у Роберта порой был такой неменяемый вид в классе, «словно его не кормили и не поили». Некоторые сверстники считали, что он «неотесанный... не знал, как себя вести с другими детьми». Сам Роберт мучительно сознавал, что знает намного больше одноклассников. «Мало радости, – однажды сказал он другу, – переворачивать страницы в книге и повторять про себя – да-да, я и так знаю, что там написано». Джанетт Мирски достаточно хорошо знала Роберта в старших классах, чтобы считать его «лучшим другом». Он казался ей отстраненным, но отнюдь не робким. Ему было свойственно некоторое высокомерие, несущее в себе семя саморазрушения. Все в личности Роберта – от неровной, резкой походки до таких мелочей, как заправка салата, – выдавало, на ее взгляд, «огромное стремление заявить о своем превосходстве».

В старших классах «домашним» учителем Роберта был Герберт Уинслоу Смит, поступивший на кафедру английского языка в 1917 году после окончания магистратуры в Гарварде. Человек удивительного ума, Смит на момент начала работы учителем готовился к защите докторской диссертации. Первый опыт в должности учителя Общества этической культуры настолько увлек его, что он так и не вернулся в

Кембридж. Смит всю свою жизнь проработал учителем общества, став впоследствии директором школы. Накачанный, подтянутый учитель обладал сердечным, мягким характером и умел непостижимым образом установить, что больше всего привлекало того или иного ученика, и соотносить этот интерес со своим предметом. После урока школьники всегда толпились у его стола, пытаясь подбить учителя на продолжение разговора. Хотя Роберт больше всего увлекался естественными науками, Смит сумел пробудить в нем интерес к литературе. Он считал, что Роберт от природы наделен «блестящим стилем прозаика». Однажды Роберт написал сочинение о кислороде, и Смит предположил: «Мне кажется, что ваше призвание – писать научно-популярные книги». Смит стал другом и наставником Роберта. «[Учитель] очень и очень любил своих учеников, – вспоминает Фрэнсис Фергюссон. – Он взял под крыло Роберта, меня и некоторых других... помогал им справляться с трудностями, советовал, как быть дальше».

Прорыв наступил в одиннадцатом классе, когда Роберту читал курс физики Огастас Клок. «Он был превосходен, – отзывался Роберт. – После первого года обучения я был в таком восторге, что решил остаться с ним на лето помогать устанавливать оборудование для двенадцатого класса, в котором мне предстояло изучать химию. Мы проводили вместе по пять дней в неделю, иногда даже в порядке поощрения ходили вдвоем собирать минералы». Роберт начал ставить

опыты с электролитами и проводниками. «Я глубоко любил химию. <...> В отличие от физики химия начинается с самой сути вещей, и очень скоро ты замечаешь связь между тем, что видишь, и захватывающей дух совокупностью идей, которые теоретически осуществимы в физике, но к которым не так-то легко подступиться». Роберт считал себя пожизненным должником Клока за то, что тот указал ему путь в науку. «Он любил ухабистый, капризный путь научных открытий, ему нравилось пробуждать в молодых людях радость познания».

Даже пятьдесят лет спустя Джейн Дидишейм сохраняла о Роберте необычайно живую память: «Он невероятно легко краснел. [Казался] очень хрупким, очень розовощеким, очень застенчивым и, разумеется, очень умным. Все быстро соглашались, что он не такой, как все, и превосходит остальных. А что касается учебы, он был круглым отличником...»

Щадящая атмосфера Школы этической культуры идеально подходила для неуклюжего подростка и всестороннего эрудита. Она позволяла Роберту блистать там и тогда, где и когда он пожелает, и предохраняла от социальных эксцессов, к которым он пока не был готов. И все же именно этот защитный кокон позволяет понять, почему его отрочество затянулось. Его не вырвали из детства, а позволили оставаться ребенком и расти, постепенно набираясь зрелости. В шестнадцать-семнадцать лет у Роберта имелся единственный близкий друг – Фрэнсис Фергюссон, стипендиат из Нью-Мекси-

ко, учившийся с ним в выпускном классе. В 1919 году, когда Фергюссон встретился с ним в первый раз, Роберт не имел определенных увлечений. «Он пробовал то одно, то другое, пытаясь найти, чем себя занять», – вспоминал Фергюссон. Помимо курса истории, английской литературы, математики и физики, Роберт записался на древнегреческий, латынь, французский и немецкий. «Но даже тогда получал одни высшие отметки». Роберт закончил школу с самым высоким баллом в классе.

Помимо походов и сбора минералов главной физической нагрузкой для Роберта служил парусный спорт. По всеобщим отзывам, он был азартным, опытным яхтсменом, управлявшим лодкой на пределе возможного. В детстве он набил руку в вождении малых лодок. Однако, когда ему исполнилось шестнадцать, отец подарил ему одномачтовую яхту длиной восемь с половиной метров. Роберт назвал ее «Тримети» – по имени химического соединения диоксида триметилена. Он особенно любил ходить под парусом во время летнего шторма, гнать лодку навстречу приливной волне прямо в Атлантику сквозь узкий пролив у Файер-Айленда. Пока младший брат Фрэнк прятался в кабине, Роберт, зажав румпель между ног, овеваемый ветром, орал от восторга и шел галсами обратно в залив Грейт-Саут-Бей. Родителей, знавших Роберта тихоней, подобное импульсивное поведение пугало. Элла частенько стояла у окна семейного дома в Бей-Шор, высматривая на горизонте силуэт «Тримети».

Юлиус не раз терял терпение и выходил на моторном баркасе, чтобы напомнить сыну о риске, которому он подвергал жизнь – как свою, так и чужую. «Роберти, Роберти...» – приговаривал он, качая головой. Роберт же ничуть не боялся, наоборот – никогда не сомневался в своей способности справиться с ветром и морем. Он полностью отдавал себе отчет в качестве своих навыков и, похоже, не видел причин лишать себя ощущения свободы. Хотя риск был просчитан, некоторые школьные друзья видели в таком поведении глубоко укоренившуюся самонадеянность или – что неудивительно – проявление неуступчивости. Роберт не мог удержаться от соблазна поиграть с огнем.

Фергюссон навсегда запомнил свой первый выход в море с Робертом. Обоим только что исполнилось семнадцать лет. «Выдался ветреный и очень холодный весенний день, ветер по всему заливу гнал невысокие волны, – вспоминал Фергюссон, – шел дождь. Мне было немного страшно, потому как я не знал, справится ли Роберт или нет. Он справился. К тому времени он уже был умелым яхтсменом. Его мать смотрела на нас из окна верхнего этажа – несомненно, с замирающим сердцем. Роберт, однако, уговорил ее отпустить нас. Она тревожилась, но терпела. Мы, конечно, вымокли до нитки – при таком-то ветре и волнах. Я сразу его зауважал».

Роберт окончил Школу этической культуры весной 1921 года, и в тот же год Юлиус и Элла взяли сыновей с собой, что-

бы провести лето в Германии. Роберт в одиночку отправился на несколько недель в полевую геологоразведочную экспедицию на старые рудники близ Иоахимсталя северо-восточнее Берлина. (По иронии судьбы пройдет два десятилетия, и немцы будут добывать в этом месте уран для своего проекта ядерной бомбы.) Пожив в палатке в суровых условиях, Роберт возвратился с чемоданом образцов горных пород и приступом окопной дизентерии, чуть не ставшей для него смертельной. Юношу отправили домой на носилках, он болел и не поднимался с постели так долго, что осенью опоздал с поступлением в Гарвард. Родители уговорили сына остаться дома и дожидаться полного выздоровления от дизентерии и сопутствующего колита. Колит будет мучить Роберта до конца жизни с периодическими обострениями из-за упрямой любви к острой пище. Он был несносным пациентом. Всю долгую зиму провел, не вылезая из нью-йоркской квартиры, подчас ведя себя по-хамски, запираясь в своей комнате и отмахиваясь от материнских предложений помощи.

Весной 1922 года Юлиус решил, что мальчик достаточно окреп, и выпустил его из дома. С этой целью он попросил Герберта Смита съездить с Робертом летом на юго-запад. Предыдущим летом учитель Общества этической культуры проделал такой же вояж с другим учеником, и Юлиус надеялся, что приключения в стиле вестерн закалят сына. Смит согласился. Однако перед отъездом Роберт встретился с учителем с глазу на глаз и задал странный вопрос – не

позволит ли он Оппенгеймеру путешествовать под фамилией Смит и выдавать себя за его младшего брата. Смит наотрез отказался и невольно подумал, что Роберт стыдится своего еврейского происхождения. Одноклассник Роберта Фрэнсис Фергюссон впоследствии строил такие же догадки, полагая, что его друг стеснялся «своего еврейства, богатства и связей на востоке и ехал в Нью-Мексико, отчасти спасаясь от всего этого бегством». Другая одноклассница, Джанетт Мирски, тоже считала, что Роберт ощущал неловкость из-за своего еврейского происхождения. «Мы все его ощущали», – добавляла Мирски. Однако несколькими годами позже, в Гарварде, Роберт, судя по всему, относился к своему происхождению уже спокойнее; одному другу из смешанной шотландско-ирландской семьи он сказал: «Ну, никто из нас не приплыл в Америку на “Мейфлауэр”».

Прибыв на юг, Роберт и Смит постепенно добрались до плоскогорья Нью-Мексико. В Альбукерке они остановились у Фергюссона и его семьи. Роберту визит понравился – он закрепил дружбу с Фрэнсисом, продолжавшуюся всю жизнь. Фрэнсис представил Роберта парню из Альбукерке их возраста, Полу Хоргану, еще одному не по годам развитому юноше, который станет успешным писателем. Хорган, как и Фергюссон, собирался поступать в Гарвард. Хорган понравился Роберту, к тому же последний был очарован красотой Розмари, черноволосой голубоглазой сестры Хоргана. Фрэнк

Оппенгеймер говорил, что его брат потом признался в сильном влечении к Розмари.

Когда юноши отправились в Кембридж и стали проводить время вместе, Хорган в шутку назвал их «великой троицей эрудитов». Поездка в Нью-Мексико пробудила в Роберте новые манеры и интересы. Первое впечатление Хоргана от встречи с Робертом в Альбукерке было особенно ярким: «... он сочетал в себе невероятное остроумие, веселость и бодрый дух... обладал приятной манерой общения, позволявшей ему быть в моменте – где бы то ни было и когда бы то ни было».

Из Альбукерке Смит повез Роберта и двух друзей, Пола и Фрэнсиса, на расположенное в двадцати пяти милях севернее Санта-Фе ранчо «Лос-Пиньос», которым управляла двадцативосьмилетняя Кэтрин Чавес Пейдж. Эта очаровательная и в то же время волевая женщина станет пожизненным другом Роберта. Но вначале вспыхнуло страстное влечение – Роберта со страшной силой тянуло к недавно вышедшей замуж Кэтрин. В прошлом году она, тяжело заболев и лежа при смерти, вступила в брак с англо-американцем, Уинтропом Пейджем, который по возрасту годился ей в отцы. А смерть вдруг отступила. Чикагский бизнесмен Пейдж редко навещался на ранчо.

Семейство Чавесов брало свое начало от аристократов-идадьго с глубокими корнями на юго-западе Испании. Отец Кэтрин, дон Амадо Чавес, выстроил красивое ранчо с

домом неподалеку от поселка Коулз с величественным видом на реку Пекос и покрытый снегами горный хребет Сангре-де-Кристо на севере. Кэтрин была «правлящей принцессой» этих владений. К своему удовольствию, Роберт оказался ее главным «фаворитом». По словам Фергюссона, хозяйка ранчо стала для Роберта «добрым другом... Он все время носил ей цветы и всякий раз, завидев ее, сводил с ума лестью».

В то лето Кэтрин научила Роберта ездить верхом, и вскоре друзья начали исследовать девственно дикие места, уезжая иногда на пять-шесть дней. Смит поражался, с какой выносливостью и решительным упорством юноша осваивал искусство верховой езды. Невзирая на слабое здоровье и хрупкий внешний вид, Роберт явно находил удовольствие в испытании своих сил верховой ездой, как прежде делал это, на грани риска управляя яхтой. Однажды они возвращались на лошадях из Колорадо, и Роберт стал настаивать на том, чтобы проехать через самый высокий, заснеженный перевал в горах. Смит был убежден, что они рисковали замерзнуть насмерть, однако Роберт не желал слышать никаких возражений. Тогда учитель предложил решить исход дела жребием, подбросив монету. «Слава богу, я выиграл, – вспоминал Смит. – Не знаю, как бы я выпутывался, если бы мне не повезло». Отчаянная лихость Роберта, на взгляд Смита, граничила с самоубийством. В общении с ним учитель чувствовал, что даже угроза смерти не помешала бы этому парню

«делать то, что ему очень хотелось».

Смит знал Роберта с четырнадцатилетнего возраста. Мальчик всегда был физически хрупок и эмоционально уязвим. Но теперь, наблюдая его поведение в диких горах или на биваке в спартанских условиях, Смит начал сомневаться – не имеет ли колит Роберта психосоматическое происхождение. Он подметил, что приступы неизменно происходили, когда Роберт слышал «презрительные» отзывы о евреях. Смит казалось, что мальчик завел привычку «заметать неприятные факты под ковер». Эта психологическая защита, считал Смит, «когда ее доводили до опасного напряжения, создавала проблемы».

К тому же Смит был хорошо осведомлен о последних фрейдистских теориях развития ребенка и на основании спокойных бесед с Робертом у костра сделал вывод, что мальчик демонстрирует явные признаки эдипова комплекса. «Я ни разу не слышал даже намека на критику матери, – вспоминал учитель. – Хотя об отце он отзывался довольно критично».

Повзрослевший Роберт, несомненно, любил отца, уступал ему и до самой смерти Юлиуса лез из кожи вон, чтобы угодить ему, ввести его в круг своих друзей и выделить ему место в своей жизни. Однако, будучи очень робким и чувствительным ребенком, Роберт каменел при виде отцовской развязности. Во время одной из ночных бесед у костра Роберт рассказал Смигу о происшествии в леднике в лагере «Ке-

ниг» – прямом следствии чрезмерной реакции его отца на болтовню о сексе между подростками, упомянутую в письме Роберта. В отрочестве он все больше стеснялся отцовского одежного бизнеса – типично еврейского ремесла. Смит позже вспоминал, как во время путешествия 1922 года он попросил Роберта свернуть свой пиджак для упаковки в чемодан. «Он резко посмотрел на меня, – писал Смит, – и сказал: “Ну да, сын портного должен это уметь, не так ли?”»

За исключением подобных всплесков эмоций Роберт в духовном плане во время совместного пребывания на ранчо «Лос-Пиньос» набрался силы и уверенности в себе. Смит понимал, что во многом за это следовало благодарить Кэтрин Пейдж. Дружба с ней была чрезвычайно важна для Роберта. То, что Кэтрин и ее друзья-аристократы приняли закомплексованного еврейского юношу как равного, прочертило разделительную веху в духовной жизни Роберта. Он, конечно, сознавал, что принят в лоне миролюбивой общины поборников этической культуры Нью-Йорка. Однако в Нью-Мексико он встретил одобрение у понравившихся ему людей вне привычного окружения. «Впервые в своей жизни, – размышлял Смит, – [Роберт] видел, что его любят, восхищаются им, ищут с ним дружбы». Роберт лелеял это чувство и в будущем научился развивать в себе навыки общения, необходимые для того, чтобы вызывать это почитание в нужную минуту.

Однажды Кэтрин и компания из «Лос-Пиньос» взяли

вьючных лошадей и отправились из поселка Фрихолес западнее Рио-Гранде на юг, чтобы подняться на плато Пахарито (Маленькая птичка), достигающее высоты 3000 метров. Они проехали через Валле-Гранде, каньон внутри кальдеры Хемез, вулканического кратера в форме чаши диаметром двенадцати миль. Повернув на северо-восток, они проехали четыре мили и вышли к еще одному каньону, носящему испанское название тополей, растущих на берегах потока, который бежал по долине, – Лос-Аламос. В то время единственным поселением в этих местах была спартанская школа-ранчо для мальчиков. Когда физик Эмилио Сегре впервые увидел Лос-Аламос, он назвал его «прекрасным дикарским краем». Густые заросли сосен и можжевельника перемежались с участками выпасных лугов. Школа-ранчо находилась на плоской мезе две мили длиной, граничащей на севере и юге с глубокими каньонами. Когда Роберт первый раз посетил школу в 1922 году, там учились всего двадцать пять мальчишек, в основном сыновья нуворишей-автопромышленников из Детройта. Ученики даже зимой носили шорты и спали в неотопливаемых крытых галереях. Каждый мальчишка отвечал за лошадь и часто предпринимал поездки в близлежащие горы Хемез. Роберт был восхищен этим режимом, так мало напоминавшим порядки Общества этической культуры, и в дальнейшем не раз находил время, чтобы приехать в эти заброшенные места.

Роберт вернулся домой влюбленный в суровые пустыни и

горы Нью-Мексико. Несколько месяцев спустя он услышал, что Смит планирует новую поездку в «земли Хопи», и написал учителю: «Я, конечно, безумно завидую. Я воображаю, как вы спускаетесь с гор в пустыню, а в это время небо накрывает попона гроз и закатов. Представляю вас в Пекос... под луной на Грасс-Маунтин».

Глава вторая. «В своей темнице»

Представление о том, что я двигался прямой дорогой, ошибочно.

Роберт Оппенгеймер

В сентябре 1922 года Роберт Оппенгеймер был принят в Гарвард. От назначенной университетом стипендии он отказался, заявив: «Я могу обойтись без этих денег». Вместо стипендии университет подарил ему том ранних сочинений Галилея. Роберту выделили комнату в Стэндиш-холл, общежитии для первокурсников, с окнами, выходящими на реку Чарлз. В свои девятнадцать лет Роберт отличался причудливой красотой – словно природа довела каждую черту до крайности. Тонкая светлая кожа туго обтягивала высокие скулы. Глаза – пронзительной голубизны, брови – черные, как смоль. Юноша отпустил жесткие курчавые волосы на макушке, но подстригал их на висках, отчего при своем росте метр семьдесят семь казался еще более долговязым. Вес юноши не превышал шестидесяти килограммов, отчего он выглядел шуплым. Прямой римский нос, тонкие губы и большие, почти заостренные уши усиливали впечатление чрезвычайной хрупкости. Роберт говорил законченными фразами с привитой матерью отменной европейской вежливостью. При этом жесты вытянутых, худых рук, казалось, коверкали сказанное. Его внешность была притягательна и

слегка гротескна.

Поведение Роберта во время трехлетнего обучения в Кембридже не способствовало смягчению впечатления о нем как об усидчивом, нелюдимом и незрелом молодом человеке. Если поездка в Нью-Мексико сделала личность Роберта более открытой, то Кембридж вернул ему прежнюю замкнутость. Гарвард был раздольем для ума, но тормозом для социального развития юноши – так, по крайней мере, это выглядело в глазах тех, кто знал Роберта. Гарвард представлял собой ярмарку интеллекта с избытком деликатесов для жадных умов. Однако университет в отличие от Общества этической культуры не играл для Роберта роли чуткого наставника, не окружал его беззаветной заботой. Юноша был предоставлен самому себе и предпочитал прятаться в защитной скорлупе своего мощного интеллекта. Он как будто нарочно выставлял напоказ свою эксцентричность. Его пища нередко состояла из одного шоколада, пива и артишоков. На обед, как правило, – «черненькое и загорелое», кусок тоста, намазанный арахисовым маслом и политый шоколадным сиропом. Большинство однокурсников считали его замкнутым. К счастью, в тот же год в Гарвард поступили Фрэнсис Фергюссон и Пол Хорган, и рядом с Робертом появились две родственные души. И все равно новых друзей было мало. Одним из них стал Джеффрис Вайман, аристократ духа из Бостона, начинающий аспирант-биолог. «Социализация давалась ему [Роберту] с большим трудом, – вспоминал

Вайман, – и мне кажется, он часто бывал очень несчастен. Видимо, был одинок и чувствовал себя белой вороной. <...> Мы стали добрыми друзьями, у него были и другие друзья, но ему чего-то не хватало... потому как все контакты между нами по большей части – я бы даже сказал целиком – происходили на интеллектуальной основе».

Интроверт-интеллектуал вдобавок увлекался творчеством депрессивных писателей вроде Чехова и Кэтрин Мэнсфилд. Его любимым шекспировским героем был Гамлет. Хорган через много лет вспоминал: «У Роберта в молодости случались приступы меланхолии, глубочайшей депрессии. Он полностью уходил в себя и не разговаривал день или два. Это происходило, когда я пару раз останавливался у него. Не понимая, чем это вызвано, я чувствовал себя очень подавленно».

Иногда умствования Роберта выходили за грань обычного позерства. По воспоминаниям Ваймана, в один жаркий весенний день Оппенгеймер вошел в комнату и объявил: «Какая несносная духота. Я провел всю вторую половину дня, лежа в кровати и читая “Газодинамическую теорию” Джинса. Что еще можно делать в такую погоду?» (Сорок лет спустя Оппенгеймер все еще держал у себя потрепанный, покрывшийся коркой соли экземпляр книги Джеймса Хопвуда Джинса «Электричество и магнетизм».)

Во время весеннего семестра первого курса у Роберта сложились дружеские отношения с Фредериком Бернхеймом,

студентом-медиком, окончившим Школу этической культуры на год позже Роберта. Их объединял интерес к науке, и ввиду того, что Фергюссон получил стипендию Родса и собирался уехать в Англию, Роберт назначил Бернхейма своим новым лучшим другом. В отличие от большинства юношей студенческого возраста, имевших множество знакомых, но мало настоящих друзей, Роберт водил дружбу с немногими, однако дружба эта была глубока.

В сентябре 1923 года, в начале второго курса, они с Бернхеймом решили поселиться в соседних комнатах старого дома под номером 60 на Маунт-Оберн-стрит неподалеку от редакции газеты «Гарвард кримсон». Роберт украсил свою комнату привезенными из дома восточным ковром, картинами и гравюрами и заваривал чай исключительно в русском самоваре на древесном угле. Бернхейма выходки друга не столько раздражали, сколько забавляли: «С ним было не очень уютно находиться рядом, потому что он всегда производил впечатление глубоко задумавшегося человека. Когда мы стали соседями, он целыми вечерами сидел, запершись в своей комнате, пытаясь что-то там делать с постоянной Планка или еще что-нибудь в этом духе. Я подозревал, что, пока я силюсь окончить Гарвард, в нем проклюнется великий физик».

Бернхейм считал Роберта ипохондриком. «Каждый вечер он ложился спать с электрической грелкой, и однажды она начала дымиться». Роберт проснулся и бегом отнес горящую

грелку в туалетную комнату. После чего снова лег спать, не подозревая, что грелка еще не потухла. Бернхейму пришлось тушить ее, чтобы не сгорел весь дом. По словам Бернхейма, жизнь с Робертом всегда была «немного напряженной, потому что приходилось так или иначе подстраиваться под его правила и настроения – он любил настаивать на своем». Несмотря на трудности, Бернхейм прожил с Робертом два года до окончания Гарварда и считал, что обязан выбором своей карьеры медика-исследователя совету друга.

С некоторой регулярностью в их квартиру на Маунт-Оберн-стрит заглядывал только один студент – Уильям Клаузер Бойд. Уильям однажды встретил Роберта на уроке химии и немедленно проникся к нему симпатией. Оба юноши пробовали писать стихи, иногда на французском, и рассказы в подражание Чехову. Роберт всегда называл друга Кловзером, нарочно коверкая произношение. Кловзер нередко присоединялся к Роберту и Фреду Бернхейму во время воскресных вылазок в Кейп-Энн в часе езды на северо-восток от Бостона. Роберт не умел водить, поэтому парни сажались в «виллис-оверленд» Бойда и ночевали в гостинице в Фолли-Коув на окраине Глостера, славящейся своей кухней. Бойд окончил Гарвард за три года и подобно Роберту много работал, чтобы этого добиться. В то же время, проводя долгие часы в своей комнате за учебой, Роберт, по воспоминаниям Бойда, «был очень осторожен, чтобы его не застали за напряженной учебой». Бойд считал, что друг на голову выше

его по уму. «Он очень быстро соображал. Когда кто-нибудь предлагал решить какую-нибудь задачу, Роберт давал два-три неверных ответа, за которыми следовал правильный, еще до того как я успевал придумать хоть какое-то решение».

Среди общих интересов Бойда и Оппенгеймера не было только музыки. «Я обожал музыку, – вспоминал Бойд, – и раз в год он посещал – обычно со мной и Бернхеймом – оперу, но уходил после первого акта. На большее его не хватало». Герберт Смит тоже заметил эту особенность и как-то раз сказал Роберту: «Ты единственный знакомый мне физик, не являющийся меломаном».

Поначалу Роберт колебался в выборе пути. Он записался на ряд не связанных друг с другом курсов – философию, французскую литературу, английский язык, введение в математический анализ, историю и три курса химии (качественный анализ, анализ газа и органическую химию). И подумывал, не записаться ли еще и на архитектуру, однако, полюбив в школе древнегреческий, размышлял также о том, не стать ли учителем классических языков или даже поэтом или художником. «Представление о том, что я двигался прямой дорогой, – вспоминал он, – ошибочно». Через три месяца Роберт сделал профилирующим предметом свое давнее увлечение – химию. Намереваясь окончить университет за три года, он набрал максимально разрешенное количество курсов – шесть. Однако каждый семестр умудрялся пробовать

два-три новых курса. Почти не выходя из дома, юноша сидел над учебниками долгими часами, но при этом пытался это скрывать, почему-то считая важным создавать видимость, что ему все дается легко. Роберт прочитал все три тысячи страниц «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Он также читал много французской литературы и начал писать стихи, некоторые из которых увидели свет в студенческом журнале «Хаунд энд хорн». «В моменты вдохновения, – писал он Герберту Смиту, – я строчу вирши. По вашему меткому замечанию, они не предназначены и непригодны для того, чтобы их кто-то читал. Навязывать другим собственную умственную мастурбацию – преступление. Подержу-ка я их до времени в ящике стола и пришлю вам, если у вас появится желание на них взглянуть». В том году вышла «Бесплодная земля» Т. С. Элиота. Прочитав поэму, Роберт немедленно проникся скупым экзистенциализмом поэта. Его собственные стихи вращались вокруг тем печали и одиночества. В начале учебы в Гарварде он написал следующие строки:

Заря наполнит страстью наше вещество,
Но свет ленивый обнажит и нас, и неизбежную тоску:
Когда шафрановые небеса
Поблекнут и утратят цвет,
А солнца диск
Бесплодным станет, и огонь
Наш сон нарушит,

Мы вновь себя находим —
Всяк в своей темнице —
В отчаянье мы жаждем
Разговора
С остальными.

Политическая культура Гарварда в 20-е годы XX века определенно была консервативной. Вскоре после поступления Роберта университет ввел ограничительные квоты на прием студентов-евреев. (К 1922 году их доля выросла до двадцати одного процента.) В 1924 году «Гарвард кримсон» на первой полосе сообщила, что бывший ректор университета Чарльз У. Элиот открыто назвал «достойным сожаления» рост числа смешанных браков между «еврейской расой» и христианами. Такие браки, по его утверждению, редко бывали счастливыми, вдобавок биологи якобы установили, что «еврейская наследственность была сильнее», а потому дети, рождающиеся в таких семьях, «всегда выглядят как евреи». Хотя в Гарвард принимали ограниченное количество негров, ректор Э. Лоуренс Лоуэлл наотрез отказывался селить их в одних общежитиях с белыми.

Подобные эксцессы не проходили мимо внимания Оппенгеймера. Более того, в начале осени 1922 года он вступил в Либеральный студенческий клуб, основанный тремя годами раньше как студенческий форум для обсуждения политики и текущих событий. В первые годы своего существования клуб привлекал много участников благодаря выступлениям таких

ораторов, как либеральный журналист Линкольн Стеффенс, Сэмюэл Гомперс из Американской федерации труда и пацифист А. Й. Масти. В марте 1923 года клуб официально выступил против дискриминационных правил приема в институт. Хотя о клубе отзывались как о носителе радикальных взглядов, Роберта он разочаровал, и юноша написал Смитту об «идиотской высокопарности либерального клуба». После первого погружения в мир организованной политики Роберт почувствовал себя как «рыба, выброшенная на берег». Тем не менее во время обеда в столовой клуба по адресу Уинтроп-стрит, дом № 66 его представили студенту четвертого курса Джону Эдсаллу, который быстро убедил Роберта редактировать новый студенческий журнал. Припомнив древнегреческую историю, Роберт предложил назвать журнал «Овод»; первая страница воспроизводила цитату на греческом об «афинском оводе» Сократе. Первый номер «Овода» вышел в декабре 1922 года. В шапке Оппенгеймер был указан как ответственный редактор. Он написал для журнала несколько статей без подписи, однако «Овод» не прижился в кампусе – вышло всего четыре номера. Тем не менее дружба Роберта с Эдсаллом на этом не закончилась.

В конце первого курса Роберт пришел к выводу, что выбор химии в качестве профилирующего предмета был ошибкой. «Я уже не помню, как сообразил, что все нравившиеся мне стороны химии были близки к физике, – говорил Оппенгеймер. – Совершенно очевидно, что, начав читать о физи-

ческой химии, вы неизбежно сталкиваетесь с идеями термодинамики и статистической механики и хотите в них разобраться. <...> Очень странно – я даже не проходил вводного курса физики». Несмотря на выбор химии как профильного предмета, еще на первом курсе весной Роберт подал на факультет физики заявку о зачете его познаний в физике, что позволило бы ему без подготовки приступить к изучению более сложных разделов. Чтобы продемонстрировать, что он кое-что смыслит в этой области, Роберт приложил список из пятнадцати книг, которые он якобы прочитал. Много лет спустя он узнал, что на заседании факультетского комитета, рассматривавшего его заявку, профессор Джордж Вашингтон Пирс пошутил: «Если [Оппенгеймер] утверждает, что прочитал эти книги, то это очевидная ложь. Однако он заслуживает докторской степени уже за то, что знает их названия».

Его первым учителем физики стал Перси Бриджмен (1882–1961), впоследствии получивший Нобелевскую премию. «Я нашел чудесного учителя в лице Бриджмена, – вспоминал Оппенгеймер, – потому что он никогда не принимал вещи такими, как они были, и всегда старался додумать их до конца». «Очень умный студент, – отзывался Бриджмен о Роберте. – Он достаточно понимал, чтобы задавать вопросы». Однако, когда преподаватель поручил ему провести лабораторный опыт, требовавший изготовления медно-никелевого сплава в самодельной печи, Оппенгеймер «не знал, за

какой конец держать паяльник». Оппенгеймер так неуклюже обращался с гальванометром, что чувствительная подвеска всякий раз, когда Роберт пользовался прибором, ломалась и требовала замены. Тем не менее Роберт проявлял настойчивость, и Бриджмен счел результаты его работы достаточно интересными для опубликования в научном журнале. Роберт был не только не по годам умен, но и подчас раздражающе бестактен. Однажды Бриджмен пригласил его домой и показал студенту фотографию храма, построенного, как он сказал, за 400 лет до нашей эры в Сегесте на Сицилии. Оппенгеймер тут же возразил: «Судя по капителям колонн, храм был построен на пятьдесят лет раньше».

В 1923 году в Гарвард приехал и прочитал две лекции знаменитый датский физик Нильс Бор. Роберт посетил обе. За год до этого Бор получил Нобелевскую премию за «заслуги в исследовании строения атомов и испускаемого ими излучения». Оппенгеймер позже говорил: «Невозможно переоценить то, насколько я преклоняюсь перед Бором». Роберт был до глубины души взволнован первой встречей с ученым. После его визита профессор Бриджмен заметил, что «он [Бор] производил на каждого, кого встречал, впечатление необыкновенно приятной личности. Я редко встречал человека, который был бы больше увлечен своим делом и в то же время лишен даже намека на лукавство... почти повсюду в Европе ему сегодня поклоняются как богу науки».

Подход Оппенгеймера к изучению физики отличался эк-

лектичностью, граничащей с бессистемностью. Он хватался за самые интересные, абстрактные задачи, пренебрегая скучными основами. Через много лет он признался, что неуверенно чувствует себя из-за пробелов в знаниях. «Я по сей день, – рассказывал Роберт в интервью 1963 года, – паникую при виде колец дыма или упругих колебаний. В моей памяти зияет прикрытая тонкой пленкой дыра. Мое математическое образование – даже для тех дней – тоже было очень неглубоким. <...> Я прослушал курс теории чисел у [Д. И.] Литлвуда – да, было интересно, однако такой математики было мало для профессиональных занятий физикой».

Когда в университет приехал философ и математик Альфред Норт Уайтхед, помимо аспирантов только Роберт и еще один студент набрались смелости записаться на его курс. Они старательно проштудировали три тома «Оснований математики», написанных Уайтхедом вместе с Бертрамом Расселом. «Очень волнительно было читать, – вспоминал Оппенгеймер, – “Основания” вместе с Уайтхедом, который успел позабыть свой труд, отчего ему приходилось быть и учителем, и учеником одновременно». Несмотря на эту подготовку, Оппенгеймер всегда считал себя неподкованным в математике. «Я мало чему учился. Гораздо больше, пожалуй, я узнал способом, которому никто не придает должного значения, – находясь в компании с другими. <...> Мне следовало больше изучать математику. Она бы мне понравилась. В том, что я ее запустил, отчасти повинна моя

нетерпеливость».

Но даже если согласиться, что в образовании будущего ученого имелись пробелы, Роберт признавал в письме Полу Хоргану, что Гарвард пошел ему на пользу. Осенью 1923 года Роберт написал Хоргану сатирическое письмо, в котором говорил о себе в третьем лице: «[Оппенгеймер] теперь возмужал, ты даже не представляешь, насколько Гарвард его изменил. Боюсь, что такая упорная учеба плохо отражается на его душе. Он говорит вслух *ужасные* вещи. Буквально прошлым вечером я поспорил с ним и сказал: но ведь в Бога ты веришь? А он ответил: я верю во второй закон термодинамики, принцип Гамильтона, в Бертрана Рассела и – как тебе такое? – в Зигфрида [*sic*] Фрейда».

Хорган считал Роберта интересным и обаятельным приятелем. Хорган и сам был блестящим молодым человеком, за свою жизнь он написал семнадцать романов и двадцать работ по истории, дважды получив Пулитцеровскую премию. И этот человек всегда видел в Оппенгеймере редкого, бесценного, всесторонне образованного эрудита. «Такие, как Леонардо да Винчи и Оппенгеймер, – большая редкость, – писал Хорган в 1988 году, – однако их удивительная любовь и опережающее время понимание сути вещей – как в качестве частных знатоков, так и исторических фигур – хотя бы дает нам идеал, на который можно смотреть и ориентироваться».

Во время учебы в Гарварде Роберт часто писал своему учителю из Школы этической культуры и гиду по Нью-Мексико Герберту Смиуту. Зимой 1923 года юноша попытался с точной иронией описать свою жизнь в Гарварде: «Вы великодушно спрашиваете, чем я занимаюсь. Помимо занятий, указанных в позорной записке на прошлой неделе, я тружусь и пишу бесчисленные рефераты, примечания, стихи, рассказы и всякую дрянь; хожу в мат[ематическую] биб[лиотеку], читаю, хожу в фил[ологическую] биб[лиотеку], делю внимание между минхером [Бертраном] Расселом и созерцанием прекрасной, милой леди, которая пишет диссертацию о Спинозе, – очаровательная ирония, не находите? Устраиваю вонь в трех разных лабораториях, слушаю треп [профессора Луиса] Алларда о Расине, подаю чай, с умным видом разглагольствую перед пропащими душами, по выходным уезжаю, чтобы дистиллировать остатки энергии в смех и изнеможение, читаю греков, совершаю глупости, роюсь в столе в поисках писем и желаю себе смерти. Вуаля».

Черный юмор, похоже, плохо защищал Роберта от периодических приступов депрессии. Некоторые из них происходили после визитов в Кембридж членов его семьи. Фергюссон запомнил совместный ужин с родственниками (не родителями) Роберта и то, как его друг буквально позеленел от вынужденной вежливости. После этого Роберт таскал Фрэнсиса за собой, истоптав несколько миль тротуара и тихо бубня о какой-то задаче по физике. Прогулки пешком служи-

ли для него единственной отдушиной. Фред Бернхейм вспоминал, что однажды они гуляли до трех часов ночи. Во время одной из зимних прогулок, в холод, кто-то предложил на «слабо» прыгнуть в реку. Роберт и еще один друг разделись и окунулись в ледяную воду.

Оглядываясь назад, все друзья Роберта замечали, что в те годы он, похоже, вел борьбу с бесами в своей душе. «Мое самоощущение, – говорил потом Оппенгеймер об этом периоде жизни, – сводилось к постоянной крайней неудовлетворенности. Мне сильно недоставало чуткости к людям, готовности принять действительность такой, как есть».

За некоторыми проблемами Роберта явно скрывалась сексуальная неудовлетворенность. В возрасте двадцати лет он, разумеется, был постоянно окружен людьми. Многие из его друзей жили активной жизнью, включающей в себя встречи с женщинами. Ни один из них не мог припомнить, чтобы Роберт хоть раз пригласил девушку на свидание. Вайман вспоминал, что он и Роберт были «слишком влюблены» в интеллектуальную жизнь, «чтобы думать о девушках. <...> Мы все периодически влюблялись [в идеи]... но испытывали нехватку любовных связей обычного рода, облегчающих жизнь». Судя по явно эротическому характеру стихов, которые он писал в этот период, Роберт определенно испытывал приступы чувственных желаний:

На ней сегодня плащ тюленьей кожи,

И жемчуг черный блещет там, где бедра мокры от воды,
Злой блеск как будто разгоняет пульс —
Покорности насилию сигнал.

Зимой 1923–1924 года Роберт написал, по его словам, «первую любовную поэму», посвященную той самой «прекрасной, милой леди, которая писала диссертацию о Спинозе». Он наблюдает за таинственной незнакомкой издали, не пытаясь с ней заговорить.

Нет, я знаю, что Спинозу многие читали,
Даже я;
Многие скрещивали белые руки на груди,
Сидя над потемневшими страницами;
Многие оказались не в силах и на мгновенье
Выглянуть из священного сфинктера своей эрудиции.
А мне-то что?
Я говорю: ты должна прийти и увидеть чаек над морем,
Позолоченных закатом;
Ты должна прийти, поговорить со мной, объяснить,
Почему крошечные белоснежные облачка —
Похожие на шарики хлопка или, если угодно, на кружево,
Как я где-то слышал, —
Крошечные белые облачка так мирно плывут
По ясному небу,
А в это время ты сидишь, бледная, в черном платье,
которое впору
Суровой аскезе Бенедикта,

И читаешь Спинозу, предоставив ветру гнать облачка,
А мне – тонуть в голодном исступлении...

Ну а что, если я забуду,
Позабуду Спинозу и твою непреклонность,
Позабуду все на свете, пока со мной не останутся
Лишь слабая полунадежда, полусожаленье
Да бескрайний морской простор?

Не решаясь завязать отношения, он вел себя отстраненно, надеясь, как говорится в поэме, что девушка сама сделает первый шаг: «Ты должна прийти, поговорить со мной...» Ощущал «полунадежду, полусожаленье». Подобная смесь сильных эмоций, конечно, нередко встречается у юношей, недавно вступивших в пору половой зрелости. Однако Роберту никто не говорил, что такое происходит не с ним одним.

Раз за разом, испытывая душевную боль, Роберт обращался за советом к старому учителю. В конце зимы 1924 года он в большом «смятении» написал Смигу о переживаемом нервном срыве. Это письмо не сохранилось, зато у нас есть ответ Роберта на ободряющее послание Смига. «Больше всего, на мой взгляд, меня успокоило то, – сообщал он Смигу, – что вы увидели в моем смятении определенное сходство с вашими собственными страданиями в прошлом. Мне никогда не приходило в голову, что положение человека, казавшегося мне столь безупречным и достойным подражания, может

быть сравнимо с моим. <...> Абстрактно я ощущаю страшное сожаление, что в мире есть так много хороших людей, с кем я никогда не познакомлюсь, так много удовольствий, которые я никогда не испытаю. Однако вы правы. По крайней мере, в моем случае желание – это не потребность, а наглое притязание».

Когда Роберт окончил первый курс, отец нашел ему работу в лаборатории Нью-Джерси. Юноша заскучал. «Должность и люди – все мещанское, примитивное, мертвое, – писал он Фрэнсису Фергюссону, уехавшему в прекрасный «Лос-Пиньос». – Работы мало, и никакой пищи для ума... как я тебе завидую! <...> Фрэнсис, ты душишь меня тоской и отчаянием. Остается лишь признать правоту чосеровского “Amor vincit omnia”⁶ в отношении вертикали моих неизменных физико-химических свойств».

Друзья Роберта привыкли к его цветистой манере изъясняться. «О чем бы он ни говорил, – заметил позже Фрэнсис, – всегда преувеличивал». Пол Хорган тоже запомнил «барочную склонность к преувеличениям». Но верно и то, что Роберт уволился из лаборатории и провел август в Бей-Шор, часто выходя в море с Хорганом, согласившимся провести каникулы вместе с другом.

В июне 1925 года, всего после трех лет обучения, Роберт с отличием окончил Гарвардский университет и получил сте-

⁶ Любовь побеждает все (лат.).

пень бакалавра химии. Его имя включили в список лучших студентов числом всего в тридцать человек и кандидатов на прием в общество «Фи Бета Каппа». Не без иронии Роберт написал Герберту Смиуту: «Даже в последней стадии старческой афазии я не мог бы сказать, что высшее образование в академическом смысле было “средним”. Я продирался через пять-десять научных трудов в неделю и делал вид, что что-то исследую. Даже если, в конце концов, мне придется довольствоваться испытаниями зубной пасты, я не хочу об этом думать, пока это реально не случится».

Испытание зубной пасты вряд ли грозило выпускнику Гарварда, который на третьем курсе изучал такие предметы, как коллоидную химию, историю Англии с 1688 года по настоящее время, гармонические функции и уравнение Лапласа, аналитическую теорию теплоты и задачи неупругих колебаний, математическую теорию электричества и магнетизма. Однако через несколько десятков лет Оппенгеймер, оглядываясь на университетские годы, признает: «Хотя я любил работать, я слишком много на себя брал и чудом избегал провалов. Мне ставили высшие отметки по всем предметам, чего я вряд ли заслуживал». На свой взгляд, Роберт приобрел «очень быстрое, поверхностное, жадное знакомство с некоторыми разделами физики, зиявшее чудовищными пробелами и нередко сочетавшееся с чудовищной нехваткой практики и дисциплины».

Не явившись на церемонию присуждения степени, Роберт

с Уильямом К. Бойдом и Фредериком Бернхеймом отметили событие в частном порядке лабораторным спиртом в общезнании. «Я и Бойд упились в стельку, – вспоминал Бернхейм. – Роберт выпил всего одну рюмку и ушел к себе». На выходные Роберт взял Бойда с собой в семейный летний дом в Бей-Шор и отправился на своей любимой «Тримети» к острову Файер-Айленд. «Мы разделись, – вспоминал Бойд, – гуляли по пляжу и сгорели на солнце». Роберт мог остаться в Гарварде – ему предложили место аспиранта со стипендией, однако его амбиции метили намного выше. Хотя он получил степень как химик, его влекло к физике, а в мире физики «ближе к центру» находился английский Кембридж. Надеюсь, что выдающийся английский физик Эрнест Резерфорд, известный созданием в 1911 году первой планетарной модели атома, примет его под крыло, Роберт уговорил преподавателя физики Перси Бриджмена написать рекомендательное письмо. В письме Бриджмен искренне признал, что Оппенгеймер наделен «невероятной способностью к усвоению знаний», но в то же время «слаб по части опытов. Его разум скорее присущ аналитику, чем физику, и он неуютно чувствует себя в лаборатории. <...> Ставка на то, что Оппенгеймер когда-либо начнет вносить свой вклад как выдающийся ученый, представляется мне несколько рискованной, но, если он вообще оправдает надежды, то достигнет, на мой взгляд, невероятного успеха».

Бриджмен закончил письмо следующими строками о ев-

рейском происхождении Оппенгеймера, характерными для того места и времени: «Как следует из его фамилии, Оппенгеймер – еврей, однако ему совершенно не свойственны типичные черты его расы. Это – высокий, хорошо сложенный молодой человек с милой застенчивостью в манерах, и я полагаю, что при рассмотрении его заявки вам не следует в чем-либо сомневаться в этой связи».

Рассчитывая, что рекомендация Бриджмена откроет перед ним двери резерфордовской лаборатории, Роберт провёл август в любимом Нью-Мексико. Что более важно, он взял в путешествие родителей и познакомил их с этим кусочком рая. Оппенгеймеры на время остановились в «Бишопс лодж» на окраине Санта-Фе и уже оттуда приехали на ранчо Кэтрин Пейдж «Лос-Пиньос». «Родителям понравился этот край, – с заметной гордостью писал Роберт Герберту Смитту, – они начали потихоньку ездить верхом. Удивительно, но они находят удовольствие в легкомысленной свободе этого места».

Вместе с вернувшимся на лето Полом Хорганом и братом Роберта Фрэнком, которому исполнилось тринадцать лет, молодежь совершала продолжительные конные прогулки по горам.

Хорган запомнил, как они взяли напрокат в Санта-Фе лошадей и проехали с Робертом по тропе Лейк-Пик через хребет Сангре-де-Кристо, спустившись к поселку Коулз: «Мы добрались до самой вершины хребта в страшную грозу... в

сильнейший, жуткий ливень. Сели обедать под лошадьми, ели апельсины, промокли до нитки. <...> Я глянул на Роберта и вдруг увидел, что волосы у него на голове стоят дыбом из-за статического электричества. Изумительно». Вернувшись уже в темноте в «Лос-Пиньос», они увидели свет в окнах Кэти Пейдж. «Это был хороший знак, – сказал Хорган. – Хозяйка встретила нас, и мы провели на ранчо несколько дней. С этого момента Кэтрин всегда называла нас своими рабами. “Вот, мои рабы приехали”».

Пока миссис Оппенгеймер сидела в тени на опоясывающей дом веранде, Пейдж и ее «рабы» целыми днями пропадали в горах. Во время одной из экспедиций Роберт обнаружил на восточных склонах Санта-Фе-Болди маленькое, не нанесенное на карту озерцо и назвал его Кэтрин.

Курить табак он, скорее всего, впервые попробовал во время одного из таких походов. Пейдж советовала ребятам ездить налегке, не брать с собой ничего лишнего. Однажды вечером в пути у Роберта закончилась еда, и кто-то предложил ему заглушить спазмы голода, выкурив трубку. Курение трубки и сигарет после этого случая быстро превратилось в пожизненную пагубную привычку.

По возвращении в Нью-Йорк Роберт, вскрыв почту, обнаружил, что Эрнест Резерфорд ответил отказом. «Резерфорд не пожелал меня принять, – вспоминал Оппенгеймер. – Он был невысокого мнения о Бриджмене, и моя характеристика показалась ему странной». В действительности Резер-

форд передал заявку Роберта своему предшественнику на посту директора Кавендишской лаборатории Д. Д. Томпсону. В 1906 году Томпсон получил Нобелевскую премию по физике за открытие электрона, однако в свои шестьдесят девять лет переживал не лучшие дни как практикующий физик. Он еще в 1919 году сложил с себя административные полномочия и в 1925 году лишь изредка навещался в лабораторию, курируя случайных студентов. У Роберта новость о том, что его учебу будет направлять Томпсон, тем не менее вызвала огромное облегчение. Он твердо избрал физику своим поприщем и был уверен, что будущее этой науки – и его самого – находится в Европе.

Глава третья. «*Мне здесь довольно плохо*»

*Мне нехорошо, и я боюсь к тебе прийти, чтобы
не случилась какая-нибудь мелодрама.
Роберт Оппенгеймер, 23 января 1926 года*

Учеба в Гарварде дала Роберту неоднозначный опыт. Юноша вырос в интеллектуальном плане, однако отношения с людьми держали его нервы в натянутом состоянии. Повседневный устоявшийся режим студенческой жизни создавал вокруг него защитную оболочку; он в очередной раз блистал в классе. Теперь оболочка исчезла, его ждала череда почти катастрофических экзистенциальных кризисов, которые начнутся осенью и будут продолжаться до весны 1926 года.

В середине сентября 1925 года Роберт сел на корабль, плывущий в Англию. Он и Фрэнсис Фергюссон договорились встретиться в маленькой деревне Суонедж в Дорсетшире на юго-западе Англии. Фергюссон все лето путешествовал по Европе в обществе матери и соскучился по мужской компании. Десять дней они гуляли по береговым утесам, рассказывая друг другу о своих приключениях. Хотя друзья не виделись два года, они поддерживали контакт через переписку и оставались близки.

«Когда я встретил его на вокзале, – писал после приезда

друга Фергюссон, – он показался мне более уверенным в себе, более крепким и прямым... он меньше смущался отношениями с матерью. Это, как выяснилось, происходило потому, что он чуть не влюбился в Нью-Мексико в красивую гойку». И все-таки в возрасте двадцати одного года Роберт, как заподозрил Фергюссон, «пребывал в полном неведении относительно половой жизни». Со своей стороны Фергюссон «открыл ему все, что доставляло ему удовольствие и о чем приходилось помалкивать в разговорах с другими». Оглядываясь назад, Фергюссон понял, что наговорил лишнего. «Я был достаточно бессердечен и глуп, – писал он, – и обстоятельно мусолил [эти вещи] с Робертом, совершив по выражению [приятельницы] Джин тяжкое изнасилование его психики».

К тому времени Фергюссон как стипендиат Родса два года отучился в Оксфорде. Фрэнсис всегда был взрослее Роберта, которого буквально ослепляли легкость поведения и социальный лоск друга. У Фрэнсиса уже три года имелась партнерша – молодая женщина по имени Франсес Кили, которую Роберт знал по Школе этической культуры. Он также уважал Фергюссона за то, что тот не побоялся бросить биологию как профилирующий предмет и заняться любимым делом – литературой и поэзией. Друг Роберта был вхож в круги элиты и наносил визиты высокородным семействам Англии в их сельских особняках. Блестящая утонченность Фрэнсиса вызывала у Роберта зависть. Они разъехались – один в Окс-

форд, другой в Кембридж, договорившись встретиться еще раз на Рождество.

Появление Роберта в Кавендишской лаборатории в Кембридже совпало с эпохой великих открытий в физике. В начале 1920-х годов европейские физики Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и некоторые другие разрабатывали теорию, которую называли «квантовой физикой» или «квантовой механикой». Если коротко, квантовая физика изучала законы поведения частиц очень малых размеров – молекул и атомов. Квантовая теория вскоре вытеснила классическую физику в понимании субатомных явлений, таких как вращение электрона вокруг ядра атома водорода.

«Горячие деньки», наставшие для физиков Европы, прошли мимо внимания заслуженных американских физиков. «Я по-прежнему оставался студентом в дурном смысле этого слова, – вспоминал Оппенгеймер. – До прибытия в Европу я не слышал о квантовой механике, не знал, что такое спин электрона. Сомневаюсь, что в Америке весной 25-го вообще кто-то о них знал, а уж я и подавно».

Роберт поселился в унылой квартире, которую называл «жалкой дырой». Обедал в университете, все дни проводил в углу подвальной лаборатории Д. Д. Томпсона, изготавливая бериллиевую пленку для изучения свойств электронов. Этот трудоемкий процесс требовал выпаривания бериллия на коллодий, после чего коллодий тщательно удалял-

ся. Неуклюжий и не приспособленный к такого рода работе, Роберт быстро невзлюбил лабораторию. Он предпочитал сидеть на семинарах и читать журналы по физике. Однако, если работа в лаборатории и была «порядочным фарсом», она предоставляла возможность встречи с такими физиками, как Резерфорд, Чедвик, С. Ф. Пауэлл. «Там я встретил [Патрика М. С.] Блэкетта, который мне очень понравился», – десятилетия спустя писал Оппенгеймер. Патрик Блэкетт, который в 1948 году получит Нобелевскую премию, стал одним из наставников Роберта. Высокий, элегантный англичанин с откровенно социалистическими взглядами на политику окончил факультет физики Кембриджа всего тремя годами раньше.

В ноябре 1925 года Роберт писал Фергюссону: «Здесь очень богатое место, изобилующее роскошными сокровищами, и, хотя я совершенно не в состоянии воспользоваться ими, у меня есть шанс встречаться с людьми, многими хорошими людьми. Здесь определенно есть хорошие физики, я имею в виду – молодые. <...> Меня приглашали на встречи самого разного рода: по высшей математике в Тринити, на тайное собрание пацифистов, в клуб сионистов и несколько пресных научных клубов. Я не видел здесь ни одного чего-либо стоящего человека, который не занимался бы наукой...» Дальше Роберт отбрасывает бравирование и признается: «Мне здесь довольно плохо. Работа в лаборатории – страшная скучища, и я так плохо с ней справляюсь, что вряд

ли узнаю что-то новое... получаю гадкие выговоры».

Трудности работы в лаборатории дополнялись ухудшением эмоционального состояния. Однажды Роберт поймал себя на том, что стоит перед пустой доской с куском мела в руке и повторяет: «Дело в том... дело в том... дело в том...». Его друг по Гарварду Джеффрис Вайман, приехавший в Кембридж в том же году, почуял неладное. Однажды он пришел к Роберту и застал его со стонами катающимся по полу. Рассказывая об этом инциденте в другом месте, Вайман передал слова Оппенгеймера о том, что «он чувствовал себя в Кембридже так паршиво, таким несчастным, что иногда падал на пол и катался по нему из стороны в сторону». Резерфорд однажды тоже был свидетелем, как Оппенгеймер рухнул как подкошенный на пол лаборатории.

Не приносил утешения и тот факт, что несколько близких друзей Роберта рано обзавелись семьями. Бывший сосед по комнате Фред Бернхейм тоже приехал в Кембридж, где встретил женщину, которая вскоре стала его женой. Предсказуемо дружба с Бернхеймом начала затухать, и Роберт это чувствовал. «У меня жутко запутанное положение с Фредом, – объяснял Оппенгеймер Фергюссону, – две недели назад был кошмарный вечер в “Луне”. Я с тех пор его не видел и краснею от одной мысли о нем. И о признании в духе Достоевского, которое он сделал».

Роберт очень много требовал от друзей, и подчас эти требования были непомерны. «В некотором роде, – вспоминал

Бернхейм, – я почувствовал облегчение. <...> Его надрывность и напористость всегда вызывали у меня дискомфорт». Бернхейм ощущал себя в компании Роберта опустошенным. Роберт упрямо пытался оживить дружбу, и Бернхейм в конце концов сказал ему, что все равно женится и что «восстановить то, что нас связывало в Гарварде, не получится». Роберт не столько оскорбился, сколько был ошарашен, что человек, которого он так хорошо знал, неожиданно выпал из его окружения. Точно так же его поразила новость о раннем замужестве Джейн Дидишейм, одноклассницы из Школы этической культуры. Джейн всегда нравилась Роберту, и он опешил, узнав, что женщина его возраста могла выйти замуж (за француза) и родить ребенка.

К концу осеннего семестра Фергюссон сделал вывод, что Роберт страдает от «полновесной депрессии». Родители тоже заподозрили, что их сын переживает кризис. По словам Фергюссона, депрессию Роберта «усиливала и заостряла борьба с матерью». Элла и Юлиус настояли на своем срочном приезде в Европу для поддержки сына. «Он в душе хотел, чтобы она была с ним, – записал Фергюссон в своем дневнике, – но считал необходимым отговаривать ее от поездки. <...> Поэтому, когда он садился в поезд на Саутгемптон, где должен был ее встретить, его страшно корежило».

Фергюссон стал свидетелем лишь некоторых из происходивших зимой чрезвычайных событий. Ясно, однако, что многие из записанных Фергюссоном подробностей мог сооб-

щитъ только сам Роберт, и вполне возможно – практически несомненно, – что, сообщая о них, юноша позволил своему пылкому воображению приукрасить подробности. «Отчет о приключениях Роберта Оппенгеймера в Европе» авторства Фергюссона датирован 26 февраля. Контекст позволяет сделать вывод, что эти строки были написаны в феврале 1926 года. Как бы то ни было, Фергюссон опубликовал свои заметки лишь через много лет после смерти Роберта.

Согласно отчету Фергюссона, один эпизод, указывающий на то, что Роберт терял контроль над своими эмоциями, произошел в поезде. «Он оказался в купе вагона третьего класса, где мужчина и женщина устроили любовь [предположительно, целовались и ласкали друг друга]. Роберт пытался читать книгу по термодинамике, но не мог сосредоточиться. Когда мужчина вышел, он [Роберт] поцеловал женщину. Она как будто даже не удивилась. <...> Однако его тут же охватило раскаяние, он рухнул на колени, раскинув ступни в стороны, и начал слезливо просить у нее прощения». После чего, поспешно схватив багаж, выскочил из купе. «Он был в таком ожесточении, что на пути с вокзала, спускаясь по лестнице и заметив внизу ту самую женщину, решил сбросить ей на голову свой чемодан. К счастью, он промахнулся». Если предположить, что Фергюссон передал рассказанную Робертом историю без искажений, это наводит на мысль, что рассказчик запутался в своих фантазиях. Он хотел поцеловать женщину? Так поцеловал или не поцеловал? Что имен-

но произошло в купе – дело темное. А вот того, что якобы произошло на выходе из вокзала, определенно не было, хотя Роберт счел необходимым добавить эту подробность. Он переживал кризис, терял берега, и его выдумки отражали душевный надлом.

Приехав в порт встречать родителей, Роберт все еще пребывал в возбужденном состоянии. Однако первым человеком, кого он увидел на сходнях, оказался не его отец или мать, а Инес Поллак, одноклассница из Школы этической культуры. Роберт переписывался с Инес, пока она училась в Вассарском колледже, и пару раз встречался с ней в Нью-Йорке на каникулах. Много десятилетий спустя в интервью Фергюссон сказал, что был уверен: Элла «устроила дело так, чтобы с ними [в Англию] приехала молодая женщина, знакомая Роберту по Нью-Йорку, и попыталась свести их, но у нее ничего не получилось».

В своем «дневнике» Фергюссон написал, что, увидев Инес на сходнях, Роберт хотел было развернуться и убежать. «Трудно сказать, – продолжал Фергюссон, – кто испугался больше – Инес или Роберт». Со своей стороны Инес, вероятно, видела в Роберте возможность вырваться из нью-йоркской жизни, где ее донимали материнские придирки. Элла согласилась сопровождать девушку в Англию в надежде, что та отвлечет Роберта от мрачных мыслей. В то же время, по словам Фергюссона, Элла считала Инес «до смешного неподходящей» для сына и, заметив, что у него действительно про-

ключнулся интерес к ней, отвела Роберта в сторону и пожаловалась на «прилипчивость Инес, решившей ехать вместе с нами».

Тем не менее Инес прибыла вместе с Оппенгеймерами в Кембридж. Роберт был с головой погружен в физику, однако во второй половине дня часто брал Инес с собой на длительные прогулки по городу. Если верить Фергюссону, Роберт всего лишь делал вид, что ухаживал за ней. «Он поддерживал достоверное и по большей части словесное подражание любви. Она отвечала тем же». Некоторое время пара даже считалась неформально помолвленной. И вот однажды вечером они зашли в комнату Инес и легли в постель. «И лежали там, дрожа от холода и не решаясь что-либо предпринять. Инес захныкала. Роберт тоже захныкал». Через некоторое время в дверь постучали, и пара услышала голос миссис Оппенгеймер: «Впусти меня, Инес. Почему ты закрылась? Я же знаю, что Роберт у тебя». Через некоторое время Элла в негодовании удалилась, и Роберт – несчастный и предельно униженный – наконец смог выйти из комнаты.

Поллак почти сразу же уехала в Италию, прихватив с собой экземпляр «Бесов» Достоевского – подарок Роберта. Естественно, разрыв только усугубил меланхолию. Перед окончанием занятий накануне Рождества Роберт написал Герберту Смиту горькое, тоскливое письмо. Извинившись за молчание, он объяснил, что «на самом деле я обручен с куда более важным делом – подготовкой к карьере. <...

> Я не писал просто потому, что не находил в себе приятной убежденности и твердости, которые нужны для написания добротного письма». О Фрэнсисе он писал: «Он очень сильно изменился. *Exempli gratia*, он счастлив. <...> Он знает всех в Оксфорде, ходит пить чай с леди Оттолайн Моррелл, высшей жрицей цивилизованного общества и покровительницей [Т. С.] Элиота и Берти [Бертрана Рассела]...»

Эмоциональное состояние Роберта продолжало ухудшаться, вызывая тревогу у друзей и семьи. Он проявлял неуверенность в себе и упрямую замкнутость. Помимо прочего жаловался на плохие отношения со своим наставником, Патриком Блэкеттом. Роберт любил Блэкетта и всячески искал у него одобрения, однако Патрик, будучи практичным физиком-экспериментатором, гонял Роберта, требуя от него большего в лаборатории, к чему у того не было способностей. Блэкетт, возможно, не придавал этому большого значения, однако в воспаленном воображении Оппенгеймера отношения с ментором порождали острые переживания.

В конце осени 1925 года Роберт совершил глупейший поступок, который, как нарочно, продемонстрировал глубину охватившего его страдания. Снедаемый ощущением собственной никчемности и лютой зависти, он «отравил» яблоко взятыми в лаборатории химикатами и оставил его на столе Блэкетта. Джеффрис Вайман впоследствии заметил: «Каким бы ни было это яблоко – реальным или воображаемым, это был акт ревности». К счастью, Блэкетт не тронул яблоко, од-

нако выходка каким-то образом дошла до сведения университетских властей. Двамя месяцами позже Роберт признался Фергюссону, что «он чуть не отравил старшего распорядителя. Трудно поверить, но так он и сказал. И якобы использовал цианистый калий или что-то в этом роде. Ему повезло, что наставник обнаружил отраву. Разумеется, ему досталось от Кембриджа». Будь пресловутый «яд» потенциально смертельным, поступок Роберта потянул бы на попытку предумышленного убийства. Однако, судя по дальнейшим событиям, это мало соответствовало истине. Скорее всего, Роберт намазал яблоко чем-нибудь, что вызвало бы у Блэкетта недомогание. Как бы то ни было, дело было серьезное, и встал вопрос об отчислении.

Родители Роберта не успели уехать из Кембриджа, и администрация университета сообщила им о происшествии. Юлиус Оппенгеймер отчаянно – и не безуспешно – ходатайствовал перед университетом, чтобы против сына не возбудили уголовное дело. После пространных переговоров было решено, что Роберту вынесут условное наказание и обяжут его посещать регулярные сеансы у известного психиатра на лондонской Харли-стрит. По сведениям старого ментора Роберта из Школы этической культуры Герберта Смита, «ему разрешили остаться в Кембридже только на условии регулярных приемов у психиатра».

Роберт по расписанию ездил в Лондон на сеансы, однако опыт этих встреч оказался отрицательным. Психоанали-

тик-фрейдист поставил диагноз «раннее слабоумие» – ныне устаревший термин-ярлык, ассоциирующийся с шизофренией. Врач решил, что Оппенгеймер представляет собой безнадежный случай и что «дальнейший психоанализ принесет больше вреда, чем пользы».

Фергюссон однажды заглянул к другу на другой день после приема у психиатра. «Он постоянно выглядел как помешанный. <...> Я увидел его на углу – он ждал меня, сдвинув шляпу набок, со странным видом. <...> Стоял в такой позе, словно вот-вот бросится бежать или выкинет какую-нибудь крайность». Двое старых друзей двинулись вперед более чем бодрым шагом. Роберт шел своей странной походкой, выворачивая ступни наружу под большим углом. «Я спросил, как дела. Он ответил, что врач слишком глуп, чтобы наблюдать его, и что он сам разбирается в своих проблемах лучше доктора, что, вероятно, так и было». В этот момент Фергюссон еще не знал о происшествии с «отравленным яблоком» и потому не понимал, чем вызваны визиты к психиатру. Хотя он видел душевное смятение друга, тем не менее не сомневался, что Роберт «способен выпрямить спину, понять суть неприятностей и найти выход из положения».

Душевный кризис, однако, не прекращался. На рождественские каникулы Роберт гулял вдоль берега моря близ деревушки Канкаль в Бретани, куда его привезли родители. В этот дождливый, унылый зимний день Оппенгеймер, как признался много лет спустя, живо осознал: «Я дошел до со-

стояния, в котором мог наложить на себя руки. Оно стало хроническим».

Вскоре после новогодних праздников 1926 года Фергюссон договорился о встрече с Робертом в Париже, куда родители привезли сына провести остаток шестинедельных каникул. Во время длинной прогулки по парижским улицам Роберт наконец признался другу в причине визитов к лондонскому психиатру. На тот момент Роберт считал, что университетские власти вообще не допустят его возвращения. «Я был обескуражен, – вспоминал Фергюссон. – Однако, когда мы немного поговорили, мне показалось, что он как бы смирился и что его больше тревожат неприятности с отцом». Роберт признал, что родители очень переживали, потому что пытались помочь ему, но у них «ничего не получалось».

Роберт недосыпал и, по словам Фергюссона, «начал вести себя с большими странностями». Однажды утром он запер мать в номере отеля, а сам ушел, что привело Эллу в бешенство. После этого она настояла, чтобы Роберт записался на прием к французскому психоаналитику. После нескольких сеансов доктор объявил, что Роберт страдает от «*crise morale*», ассоциирующегося с сексуальной фрустрацией. Он прописал «*une femme*» и «курс лечения афродизиаками». Несколькими годами позже Фергюссон вспоминал: «Он [Роберт] совершенно не знал, с какой стороны подступить к половой жизни».

Вскоре эмоциональный кризис Роберта совершил еще

один жестокий виток. Сидя с Робертом в номере парижского отеля, Фергюссон почувствовал, что его друг опять находится в характерном «неоднозначном состоянии». Вероятно, пытаясь отвлечь друга от дурных мыслей, Фергюссон показал ему стихи, написанные его подругой Франсес Кили, после чего объявил, что предложил Кили выйти за него замуж и что та согласилась. Роберта новость оглушила, и он сорвался. «Я наклонился, чтобы взять книгу, – вспоминал Фергюссон, – как вдруг он бросился на меня сзади и обмотал вокруг моей шеи ремень от чемодана. На минуту я испугался за свою жизнь. Шум наверно стоял еще тот. Я умудрился вырваться, а Роберт упал на пол и зарыдал».

Возможно, Роберта спровоцировала обыкновенная зависть к любовному увлечению друга. Женщина уже отняла у него одного друга – Фреда Бернхейма; потеря еще одного в таких же обстоятельствах могла показаться ему чересчур тяжелой. Фергюссон заметил, что «Роберт то и дело картинно бросал на нее [Франсес Кили] свирепые взгляды. Ему легко бы далась роль жестокого любовника – я испытал это на своей шкуре!»

Несмотря на попытку удушения, Фергюссон не бросил друга. Более того, он, возможно, считал себя виноватым, ведь о ранимости Роберта его предупредил письмом не кто иной, как хорошо знавший о ней Герберт Смит: «Кстати, мне сдается, что показывать ему [Роберту] вашу осведомленность следует с большим тактом, а не с царской щедро-

стью. Ваша фора в два года и приспособляемость в обществе способны довести его до отчаяния. *И вместо того, чтобы вцепиться вам в горло, как вы на моей памяти чуть не вцепились Джорджику как там его... когда вы точно так же ощутили свое бессилие перед ним* (курсив мой), боюсь, он просто сочтет свою жизнь недостойной продолжения». Письмо Смита ставит вопрос: не смешал ли будущий писатель Фергюссон свою собственную атаку на неведомого Джорджа с поведением Оппенгеймера? Однако факт последующих извинений Роберта делает рассказ Фергюссона достоверным.

Фергюссон понимал, что его друг отчасти невротик, однако при этом верил, что Роберт преодолеет это состояние. «Он знал, что я знал: это был сиюминутный порыв. <...> Я наверно еще больше встревожился бы, если бы не понимал, как быстро он менялся. <...> Я его очень любил». Они останутся друзьями до гробовой доски. И все же несколько месяцев после нападения Фергюссон осторожничал. Он переехал из отеля и колебался, когда Роберт той же весной уговаривал его встретиться у него в Кембридже. Роберта собственное поведение застало врасплох не меньше Фрэнсиса. Через несколько недель после инцидента он написал другу: «Ты заслуживаешь не письма, а паломничества в Оксфорд в комплекте с власяницей, постом, снегом и молитвами. Я буду сохранять чувство раскаяния и благодарности, а также стыда за мое неуважение к тебе до тех пор, пока смогу сделать для тебя что-то менее бесполезное. Я не понимаю, от-

куда берутся твои долготерпение и душевная щедрость, но я точно знаю – я их никогда не забуду»⁷. В этой кутерьме Роберт, пытаясь осознанно преодолеть эмоциональную уязвимость, сам превратился в подобие психоаналитика. В письме от 23 января 1926 года он предположил, что его душевное состояние как-то связано с «ужасным фактом моего перфекционизма... именно этот факт в сочетании с моей неспособностью спать вместе два медных проводка в итоге сводит меня с ума».

Подавив сомнения, Фергюссон согласился приехать в Кембридж ранней весной. «Он поселил меня в соседней комнате. Я помню, как боялся, что он зайдет в мою комнату ночью, и подпер стулом дверь. Но ничего не случилось». К этому времени Роберт пошел на поправку. Когда Фергюссон походя коснулся больной темы, «он попросил меня не беспокоиться – все прошло». Роберт между тем ходил к еще одному психоаналитику – третьему по счету – в Кембридже. К этому времени Роберт прочитал много всего о психоанализе и, по словам его друга Джона Эдсалла, «относился к этой теме очень серьезно». Ему также показалось, что новый аналитик, доктор М., был «более мудрым и благоразумным человеком», чем врачи, которых Роберт посещал в Лондоне и Париже.

⁷ И он действительно не забыл. Через несколько десятков лет Оппенгеймер найдет для Фергюссона место в Принстонском Институте перспективных исследований. – *Примеч. авторов.*

Скорее всего молодой Оппенгеймер продолжал посещать психоаналитика всю весну 1926 года. Но со временем их отношения прервались. В один июньский день Роберт заехал к Джону Эдсаллу и сказал ему, что «[доктор] М. решил – дальнейшее продолжение анализа будет бесполезным».

Герберт Смит впоследствии случайно встретил в Нью-Йорке одного из своих друзей, психиатра, знавшего об этом деле, и тот рассказал, что Роберт «наплел психиатру в Кембридже с три короба. <...> Проблема в том, что психиатр должен быть способнее того, кого он анализирует. Таковых не нашлось».

* * *

В середине марта 1926 года Роберт уехал из Кембриджа в короткий отпуск. Трое друзей, Джеффрис Вайман, Фредерик Бернхейм и Джон Эдсалл, уговорили его поехать с ними на Корсику. Десять дней друзья колесили на велосипедах вдоль острова, ночевали в маленьких гостиницах или разбивали лагерь под открытым небом. Скалистые горы острова и слегка поросшие лесом плоскогорья, видимо, напоминали Роберту о дикой красоте Нью-Мексико. «Пейзаж был потрясающий, – отзывался Бернхейм, – попытки объясниться с местными – плачевными, местные блохи каждый вечер пировали до отвала». Временами Роберта одолевала хандра, и он начинал говорить о чувстве угнетенности. За по-

следние месяцы он прочитал много произведений французской и русской литературы и во время походов в горы любил спорить с Эдсаллом о сравнительных достоинствах Толстого и Достоевского. Однажды вечером, попав под ливень, молодые люди укрылись в близлежащей гостинице. Повесив мокрую одежду сушиться и завернувшись в одеяла, они продолжали спор. «Толстой – вот писатель, который мне нравится», – не унимался Эдсалл. «Нет-нет, Достоевский выше его, – отвечал Оппенгеймер. – Он видит насквозь душу и матеу человека».

Позднее, когда разговор зашел о будущем, Роберт заметил: «Больше всего я восхищаюсь теми, кто умеет чрезвычайно хорошо делать множество вещей, но не позабыл вкус слез». Если Роберта и угнетали тяжелые экзистенциальные думы, то у его друзей, наоборот, сложилось твердое впечатление, что по мере продвижения по острову его душа постепенно избавлялась от бремени. Находя удовольствие в потрясающих видах, хорошей французской кухне и винах, он писал брату Фрэнку: «Здесь прекрасное место со всеми добродетелями – от вина до ледников, от лангустов до бригантин».

Вайман считал, что на Корсике Роберт «переживал глубокий эмоциональный кризис». И тут случилось нечто странное. «Однажды, – вспоминал Вайман несколько десятилетий спустя, – когда наше пребывание на Корсике почти подошло к концу, мы остановились в маленькой гостинице и втроем

– Эдсалл, Оппенгеймер и я – сели ужинать». К Оппенгеймеру подошел официант и сообщил о времени отправления во Францию ближайшего парохода. Удивившись, Эдсалл и Вайман спросили друга, почему он торопится возвратиться раньше намеченного срока. «Я не в состоянии об этом говорить, – ответил Роберт, – но уехать обязан». Позднее в тот же вечер, выпив вина, он смягчился и сказал: «Ну, пожалуй, я могу признаться, почему уезжаю. Я совершил ужасный поступок. Я оставил на столе Блэкетта отравленное яблоко и должен вернуться и узнать, что из этого вышло». Эдсалл и Вайман были ошарашены. «Я так никогда и не понял, – признался Вайман, – говорил ли он правду или все выдумал». Роберт отказался сообщить подробности, однако упомянул, что ему поставили диагноз «раннее слабоумие». Не ведая о том, что инцидент с «отравленным яблоком» произошел осенью прошлого года, Вайман и Эдсалл подумали, что Роберт «в приступе ревности» решил как-то навредить Блэкетту весной, непосредственно перед поездкой на Корсику. Что-то действительно случилось, однако, как позже заметил Эдсалл, «он [Роберт] говорил о событии как о реальном, отчего Джеффрис и я заподозрили, что он страдал галлюцинациями».

Противоречивые свидетельства много десятков лет создавали туман вокруг истории с отравленным яблоком. Однако в интервью с Мартином Шервином 1979 года Фергюссон четко разъяснил, что инцидент произошел в конце осени

1925 года, а не весной 1926 года: «Все это случилось во время его [Роберта] первого семестра в Кембридже, еще до того, как я встретился с ним в Лондоне, куда он ездил на прием к психиатру». На вопрос Шервина, верит ли он в правдивость истории с отравленным яблоком, Фергюссон ответил: «Да, верю. Верю. Его отцу пришлось заступаться за него перед университетскими властями, чтобы Роберта не обвинили в попытке убийства». В беседе с Элис Кимбалл Смит в 1976 году Фергюссон упомянул «время, когда он [Роберт] попытался отравить одного из коллег. <...> Он сам рассказал мне об этом или тогда, или чуть позже в Париже. Я всегда полагал, что происшествие, скорее всего, действительно имело место. Но я не знаю точно. В это время он вытворял много всяких безумств». Смит определенно считала Фергюссона заслуживающим доверия источником. После интервью она оставила пометку: «Он не старается делать вид, будто помнит то, чего не может вспомнить».

Затянувшееся отрочество Оппенгеймера наконец подошло к концу. Во время поездки на Корсику с ним случилось нечто сродни пробуждению. Оппенгеймер никогда не признавался в том, что случилось на самом деле. Возможно, толчок дало мимолетное любовное увлечение, но это вряд ли. Несколько лет спустя Роберт дал такой ответ автору Нуэлю Фарр Дэвису Роберт: «Прелюдией того, что со мной произошло на Корсике, стал психиатр. Вы спрашиваете, расскажу

ли я всю историю полностью или вам придется ее раскапывать. О ней знают лишь немногие, но они не станут говорить. Вы ничего не сможете раскопать. Вам достаточно знать, что речь шла не о любовном походе, а о любви». Эта встреча возымела для Оппенгеймера мистическое, трансцендентальное значение: «После этого единственным расстоянием, которое я признавал, была только география, но и она по-настоящему не отделяла меня от других». Загадочное событие, как он признался Дэвису, стало «великим в моей жизни, великой и неизменной частью меня, тем более сейчас, когда я оглядываюсь назад и жизнь почти закончилась».

Итак, что же случилось на Корсике? Возможно, ничего особенного. Оппенгеймер нарочно ответил на запрос Дэвиса насчет Корсики загадкой, чтобы подразнить биографов. Он уклончиво назвал это «любовью», а не «любовным походом», очевидно, придавая значение разнице в понятиях. Находясь в компании друзей, он не имел возможности предаваться любовным походам. Зато прочитал книгу, которая, похоже, стала для него откровением.

Этой книгой был роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» – мистический, экзистенциалистский текст, нашедший отклик в измученной душе Оппенгеймера. Прочитав книгу во время похода по Корсике за несколько вечеров при свете фонарика, Роберт впоследствии отзывался о ней своему другу по Беркли Хокону Шевалье как о величайшем событии в своей жизни. Она одним разом вывела юно-

шу из депрессии. Произведение Пруста – классический роман самопознания – произвело на Оппенгеймера глубочайшее, неизгладимое впечатление. Более десяти лет после первого прочтения Пруста Оппенгеймер удивил Шевалье, процитировав по памяти пассаж из первого тома, в котором говорилось о жестокости:

Может быть, она не считала бы порок состоянием столь редким, столь необыкновенным, столь экзотическим, погружение в которое действует так освежающе, если бы была способна различить в себе, как и во всех вообще людях, глубокое равнодушие к причиняемым ими страданиям, являющееся, как бы мы ни называли его, самой распространенной и самой страшной формой жестокости⁸.

* * *

Путешествуя по Корсике молодым человеком, Роберт, вне всяких сомнений, заучил эти слова наизусть, потому что увидел в себе такое же равнодушие к страданиям, которые он причинял другим. Прозревать было больно. О том, что происходило у него в душе, остается лишь догадываться. Возможно, увидев отражение своих собственных мрачных, пронизанных чувством вины мыслей в печатном виде, Роберт отчасти освободился от их психологического гнета. Понима-

⁸ Перевод А. Франковского.

ние того, что он не один, что его состояние часть природы человека, должно было успокоить его душу. Причина презирать себя отпала, ему было позволено любить. К тому же его, как интеллектуала, обнадеживало то, что он вычитал об этом в книге, а не услышал на приеме у психиатра, что в итоге помогло ему выбраться из черной дыры депрессии.

Оппенгеймер вернулся в Кембридж с более легким, отходчивым отношением к жизни. «Я почувствовал себя добрее и терпимее, – вспоминал он. – Теперь я мог строить отношения с другими...» К июню 1926 года он решил прекратить визиты к кембриджскому психиатру. Его также приободрил переезд из «жалкой дыры» в Кембридже в «менее жалкий» дом на побережье реки Кам на полпути до Гранчестера, старой деревни, расположенной в одной миле южнее Кембриджа.

Ненавидя работу в лаборатории и не имея задатков физика-экспериментатора, Роберт благоразумно решил заняться более абстрактной теоретической физикой. Даже посреди затяжной зимней депрессии он умудрился прочитать достаточно для того, чтобы понять: вся эта область находилась в состоянии активного брожения. Как-то раз на кавендишском семинаре первооткрыватель нейтрона Джеймс Чедвик взял номер «Физикл ревью» с новой статьей Роберта Э. Милликена и пошутил: «Опять одно кудахтанье. Когда же будет яйцо?»

В начале 1926 года, прочитав статью молодого немецкого физика Вернера Гейзенберга, Роберт осознал: складывается совершенно новый взгляд на поведение электронов. Примерно в это же время австрийский физик Эрвин Шредингер предположил, что поведение электронов скорее похоже на волны, обтекающие ядро атома. Как и Гейзенберг, он нарисовал математический портрет текучего атома, назвав свою теорию квантовой механикой. Прочитав обе статьи, Оппенгеймер решил, что между волновой механикой Шредингера и матричной механикой Гейзенберга должна существовать связь. По сути, они были двумя версиями одной и той же теории – это было истинное яйцо, а не кудахтанье.

Квантовая механика стала популярной темой для дебатов в клубе Капицы, неформальной дискуссионной группе физиков, носящей имя ее основателя, молодого русского физика Петра Капицы. «Я незаметно для себя начал втягиваться», – вспоминал Оппенгеймер. Той же весной он познакомился с еще одним молодым физиком – Полем Дираком, который в мае защитил в Кембридже докторскую диссертацию. К этому времени Дирак уже был известен своими революционными трудами в области квантовой механики. Роберт, сильно преуменьшая, заметил, что труды Дирака «трудны для понимания и что [того] не волновало, поймут ли их. Я считал его по-настоящему великим». С другой стороны, первое впечатление, произведенное на Оппенгеймера Дираком, похоже, было не столь благоприятным. Роберт сказал Джеффри-

су Вайману, что «не думает, будто [Дирак] что-то представляет из себя». Дирак и сам был в высшей степени эксцентричным молодым человеком и славился своей однобокой приверженностью науке. Несколькими годами позже Оппенгеймер предложил другу пару книг. Дирак вежливо отказался от подарка, заметив, что «чтение книг мешает думать».

Именно в это время Оппенгеймер познакомился с великим датским физиком Нильсом Бором, чьи лекции посещал в Гарварде. Бор был примером для подражания, в точности созвучным душевной организации Роберта. Ученый был на девятнадцать лет старше Оппенгеймера и, подобно ему, вырос в зажиточной семье в окружении книг, музыки и преклонения перед знаниями. Отец Бора был профессором физиологии, мать – дочерью еврейского банкира. В 1911 году Бор получил степень доктора физики Копенгагенского университета. Двумя годами позже он сделал революционное открытие в новой области квантовой механики, введя понятие «квантового скачка» энергии электронов, вращающихся вокруг ядра атома. В 1922 году он получил Нобелевскую премию за создание теоретической модели строения атома.

Высокий и мускулистый, добросердечный и мягкий, наделенный своеобразным чувством юмора, Бор был всеобщим любимцем. Он всегда говорил сдержанным полупшепотом. «Редкий человек, – писал Бору весной 1920 года Альберт Эйнштейн, – вызывал у меня такое удовольствие одним своим присутствием, как это делаете вы». Эйнштейна восхи-

шала манера Бора «высказывать свои мнения, как человек, постоянно пытающийся нащупать истину, а не тот, кто [будто бы] знает истину в последней инстанции». Роберт называл Бора «мой Бог».

«В этот момент я позабыл бериллий с пленками и решил изучать ремесло физика-теоретика. К тому времени я прекрасно понимал: наступили необычные времена, происходят великие события». Этой весной, восстановив психическое здоровье, Оппенгеймер прилежно работал над своим первым трудом по теоретической физике, изучающим вопросы «атомных столкновений», или «непрерывного спектра». Работа давалась нелегко. Как-то раз он зашел в кабинет Эрнеста Резерфорда и застал там сидящего в кресле Бора. Резерфорд вышел из-за стола и представил своего подопечного Бору. Знаменитый датский физик вежливо спросил: «Как идут ваши дела?» Роберт без утайки ответил: «У меня проблемы». Бор спросил: «С математикой или физикой?» Роберт ответил: «Я не знаю». «Это плохо», – сказал Бор.

Бор хорошо запомнил эту встречу – Оппенгеймер выглядел необычайно молодо, и, после того как он вышел из кабинета, Резерфорд заметил, что возлагает на молодого аспиранта большие надежды.

Насколько был хорош вопрос Бора – в чем суть проблемы, в математике или физике? – Роберт оценил лишь через несколько лет. «Я слишком пристально смотрел на то, насколько запутался в формальных вопросах, вместо того что-

бы отступить на шаг и увидеть, какое отношение они имели собственно к физике». Позднее он понял, что некоторые физики почти полностью полагались в описании природных явлений на язык математики; любое вербальное описание было для них «лишь уступкой для непонятливых, дидактикой в чистом виде. Мне кажется, это относится к [Полю] Дираку; он изначально делает свои открытия алгебраически, а не вербально». В противоположность ему такие физики, как Бор, «смотрели на математику, как Дирак смотрит на слова, то есть видят в ней лишь способ объяснения своего открытия другим людям. <...> Так что спектр очень широк. [В Кембридже] я просто учился, но мало чего узнал». По своему темпераменту и дарованию Роберт был намного ближе Бору, физиком с вербальным типом мышления.

На исходе весны Кембридж организовал для американских студентов-физиков посещение Лейденского университета. Оппенгеймер принял участие в поездке и встретился с рядом немецких физиков. «Это было чудесно, – вспоминал он. – Я понял, что в зимних неприятностях были отчасти повинны английские привычки». По возвращении в Кембридж он познакомился с еще одним немецким ученым – Максом Борном, директором Института теоретической физики при Геттингенском университете. Оппенгеймер заинтриговал Борна – отчасти потому, что двадцатидвухлетний юноша пытался решить теоретические задачи, поднятые в недавних статьях Гейзенберга и Шредингера. «Оппенгеймер

с самого начала показался мне одаренным человеком», – сказал Борн. В конце весны Оппенгеймер принял приглашение Борна продолжить обучение в Геттингене.

Год, проведенный в Кембридже, обернулся для Роберта катастрофой. Он едва не был отчислен из-за инцидента с «отравленным яблоком». Впервые в жизни был лишен возможности блистать интеллектуально. Его эмоциональные срывы видели близкие друзья. Однако он преодолел зимнюю депрессию и теперь был готов исследовать новую сферу приложения своих умственных способностей. «Когда я приехал в Кембридж, – сказал Роберт, – я столкнулся с необходимостью решения вопроса, на который ни у кого не было ответа, а сам я не желал его решать. Покидая Кембридж, я все еще толком не знал решения, но уже понял, в чем состоит мое призвание, – такова была перемена, происшедшая за год».

Роберт впоследствии вспоминал, что так и не избавился до конца от «недобрых мыслей о себе на всех фронтах, однако твердо решил, если получится, перейти в теоретическую физику. <...> Меня полностью освободили от работы в лаборатории. От меня там никому не было никакого проку, да и мне самому не было никакой радости; я чувствовал, что работаю из-под палки».

Глава четвертая. «Работа, слава Богу, трудна и почти приятна»

Мне кажется, Геттинген тебе понравился бы. <...> Наука здесь куда лучше, чем в Кембридже, и в целом лучше, пожалуй, чем где бы то ни было. <...> Я нахожу, что работа, слава Богу, трудна и почти приятна.

Роберт Оппенгеймер в письме Фрэнсису Фергюссону, 14 ноября 1926 года

В конце лета 1926 года Роберт, пребывая в куда лучшем настроении и значительно возмужав за год, прибыл на поезде в Нижнюю Саксонию, в маленький средневековый город Геттинген, известный своей ратушей и церквями XIV века. На углу Барфюссер-штрассе и Юден-штрассе (улицы Босоногих и Еврейской улицы) в четырехсотлетнем доме Юнкершанке под выгравированным на стали портретом Отто фон Бисмарка в окружении трехэтажных витражей можно было поужинать шницелем по-венски. Узкие, извилистые улочки города пестрели причудливыми фахверками. Но главной достопримечательностью был примостившийся на берегу канала Лейне Университет имени Георга Августа, основанный в 30-х годах XVIII века немецким курфюрстом. По местному обычаю выпускники университета залезали в фонтан перед старинной ратушей и целовали Гусятницу, бронзовую девушку,

стоящую в центре водоема.

Если Кембридж притязал на звание крупнейшего в Европе центра экспериментальной физики, то Геттинген несомненно был центром физики теоретической. В то время немецкие физики так низко ценили своих американских коллег, что экземпляры «Физикл ревью», ежемесячного журнала Американского физического общества, лежали на полках невостребованными, пока их по окончании года не убирал библиотекарь.

Оппенгеймеру повезло попасть в Геттинген перед завершением удивительной революции в области теоретической физики – Макс Планк открыл кванты (фотоны), Эйнштейн разработал гениальную теорию относительности, Нильс Бор дал описание атома водорода, Вернер Гейзенберг сформулировал матричную механику, Эрвин Шредингер – волновую. Этот воистину инновационный период начал идти на убыль после опубликования Борном в 1926 году научной работы о вероятностной интерпретации волновой функции, а закончился в 1927 году открытием Гейзенбергом принципа неопределенности и формулированием Бором принципа дополнительности. К тому времени, когда Роберт покинул Геттинген, основы постньютоновской физики были окончательно заложены.

Занимая пост заведующего кафедрой физики, профессор Макс Борн способствовал работе Гейзенберга, Юджина Вигнера, Вольфганга Паули и Энрико Ферми. В 1924 году Борн

ввел в употребление термин «квантовая механика», и он же предположил, что результат любого взаимодействия в квантовом мире имеет вероятностный характер. В 1954 году ему присудят Нобелевскую премию по физике. Студенты считали Борна, пацифиста и еврея, невероятно добросердечным и терпеливым преподавателем. Для человека с чувствительным темпераментом вроде Роберта Борн был идеальным наставником.

Оппенгеймер на год оказался в компании ряда удивительных ученых. Джеймс Франк, специалист в области экспериментальной физики, вместе с которым учился Роберт, всего годом раньше стал нобелевским лауреатом. Немецкий химик Отто Ган через несколько лет откроет деление ядра. Еще один немецкий физик, Эрнст Паскуаль Йордан, сформулировал вместе с Борном и Гейзенбергом матричную механику как вариант квантовой теории. Молодой английский физик Поль Дирак, с которым Оппенгеймер познакомился в Кембридже, работал над квантовой теорией поля и в 1933 году разделит Нобелевскую премию с Эрвином Шредингером. Математик венгерского происхождения Джон фон Нейман станет в будущем сотрудником Манхэттенского проекта под началом Оппенгеймера. Джордж Юджин Уленбек, голландец, родившийся в Индонезии, и Сэмюэл Абрахам Гаудсмит выдвинули в конце 1925 года гипотезу о спине электрона. Роберт встречался с Уленбеком весной предыдущего года во время недельного посещения Лейденского универси-

тета. «Мы немедленно подружились», – вспоминал Уленбек. Роберт был настолько глубоко погружен в физику, что Уленбеку казалось, будто они были «давними друзьями».

Роберт снимал помещение на частной вилле геттингенского врача, лишённого лицензии из-за врачебных ошибок. Состоятельное в прошлом семейство Карио владело просторной виллой из гранита с окруженным стеной садом площадью несколько акров неподалеку от центра Геттингена, но не имело денег. После того как семейное состояние сожрала послевоенная инфляция, владельцы были вынуждены брать постояльцев. Бегло говорящий по-немецки Роберт быстро разобрался в душной политической атмосфере Веймарской республики. Впоследствии он предположил, что семья Карио «накопила в себе характерное ожесточение, на которое опиралось нацистское движение». Осенью он писал брату: «Похоже, все стараются превратить Германию в очень успешную, нормальную страну. На невротиков смотрят косо, впрочем на евреев, пруссаков и французов тоже».

За университетскими воротами большинство немцев переживали тяжелые времена. «Хотя [университетское] общество относилось ко мне с невероятной щедростью, теплотой и предупредительностью, оно было островом в море унылого немецкого духа», – писал Роберт. Он находил, что немцы «ожесточены, угрюмы... сердиты и заряжены теми самыми элементами, которые в итоге приведут к большой катастрофе». У него был друг-немец со своим автомобилем, выхо-

дец из богатой семьи Ульштайнов, владельцев издательского дома. Они с Робертом совершали автопрогулки по окрестным селам. Оппенгеймера, однако, поразил тот факт, что его друг оставлял машину в сарае за околицей Геттингена, потому что выставлять ее напоказ в городе было небезопасно.

Жизнь американских эмигрантов и в особенности жизнь Роберта протекала совершенно в ином ключе. Достаточно сказать, что он никогда не испытывал нужды в деньгах. Для двадцатидвухлетнего юноши было обычным делом носить мятые костюмы «в елочку» из тончайшей английской шерсти. Сокурсники замечали, что в отличие от их матерчатых баулов Оппенгеймер возил свои вещи в блестящих дорогих чемоданах из свиной кожи. А когда они наведывались в пивную пятнадцатого века «Цум шварцен бэрен» («У черного медведя») попить *frisches Bier* (свежего пива) или кофейню Крона и Кона Ланца, то счет нередко оплачивал Роберт. Он преобразился – стал уверенным в себе, деятельным, собранным. Материальные блага его не волновали, зато он ежедневно стремился завоевать восхищение окружающих. Для привлечения поклонников он использовал остроумие, эрудицию и красивые вещи. «Роберт был, – вспоминал Уленбек, – можно сказать, центром притяжения для всех молодых студентов... своеобразным оракулом. Он очень много знал. За его мыслью было трудно угнаться, уж слишком она была быстра». Уленбека поражало, что вокруг столь юного молодого человека увивалась «целая толпа поклонников».

В отличие от Кембриджа в Геттингене Оппенгеймер ощущал в отношениях с другими студентами позитивный дух товарищества. «Я был частью небольшой общины с едиными интересами и вкусами и множеством общих интересов в физике». В Гарварде и Кембридже умственные занятия Роберта ограничивались чтением книг в одиночку. В Геттингене он впервые осознал, что учиться можно у других: «Со мной начало происходить нечто важное, более важное, чем для кого-нибудь другого: я мало-помалу начал вступать в беседы. Постепенно они привили мне чутье и еще медленнее – вкус к физике, которых я не получил бы, сидя запершись в комнате».

Вместе с ним на вилле Карио проживал Карл Т. Комптон, профессор физики Принстонского университета тридцати девяти лет и будущий ректор Массачусетского технологического института (МТИ). Невероятная разносторонность Оппенгеймера страшила Комптона. Он был способен поддержать разговор с соседом, пока речь шла о науке, но терялся, когда разговор переходил на литературу, философию или хотя бы политику. Роберт писал брату, несомненно, имея в виду Комптона: «Большинство американцев в Геттингене – это профессора из Принстона, Калифорнии или еще откуда-нибудь, женатые, респектабельные. Они довольно хорошо разбираются в физике, но абсолютно малограмотны и наивны. Они завидуют немецкому интеллектуальному проворству и организации и хотят, чтобы физика достигла Амери-

ки».

Одним словом, Роберт преуспевал в Геттингене. Осенью он воодушевленно писал Фрэнсису Фергюссону: «Мне кажется, Геттинген тебе понравился бы. Как и Кембридж, это почти полностью город науки, и почти все местные философы интересуются гносеологическими парадоксами и фокусами. Наука здесь куда лучше, чем в Кембридже и в целом лучше, пожалуй, чем где бы то ни было. Здесь очень много работают, сочетая фантастически непоколебимое метафизическое хитроумие с настырностью рабочих обойной фабрики. В итоге работа выполняется с дьявольским неправдоподобием и крайне успешно. <...> Я нахожу, что работа, слава Богу, трудна и почти приятна».

В эмоциональном плане Роберт почти все время чувствовал себя ровно. Однако кратковременные срывы тоже случались. Поль Дирак однажды наблюдал, как юноша упал в обморок и свалился на пол – то же с ним случилось в резерфордской лаборатории. «Я еще не до конца оправился, – вспоминал Оппенгеймер несколько десятилетий спустя, – в течение года у меня было несколько приступов, но они становились все реже и все меньше мешали работе». В тот год комнату на вилле Карио снимал еще и студент-физик Торфин Хогнесс с женой Фиби. Поведение Оппенгеймера им тоже иногда казалось странным. Фиби часто видела его лежащим на кровати без дела. За этими периодами «спячки» неизменно следовали вспышки говорливости. Фиби считала соседа

«неврастеником». Однажды кто-то заметил, что Роберт пытается преодолеть приступ заикания.

Постепенно с возвращением уверенности в себе Оппенгеймер начал замечать, что молва о нем бежит впереди него. Перед самым отъездом из Кембриджа он сдал в Кембриджское философское общество две статьи: «О квантовой теории вращательно-колебательных спектров» и «О квантовой теории задачи двух тел». Первая статья рассматривала энергетические уровни молекулы, вторая – переходы в стабильные состояния в атомах водорода. Обе работы представляли собой небольшой, но важный вклад в квантовую теорию, и Оппенгеймер был рад, что Кембриджское философское общество опубликовало их ко времени его прибытия в Геттинген.

Признание, которое принесла публикация этих статей, побудило Роберта увлеченно ринуться в семинарские дискуссии – с энтузиазмом, часто раздражавшим других студентов. «Это был человек большого таланта, – писал позднее Макс Борн, – причем он сознавал свое превосходство, демонстрируя его в неловкой манере, ведущей к неприятностям». На семинарах по квантовой механике Роберт повадился перебивать любого выступающего, включая самого Борна, высказывать к доске с мелом в руках и на немецком языке с американским акцентом заявлять: «Это можно лучше сделать следующим образом...» Несмотря на жалобы студентов, Роберт не замечал вежливых, нерешительных попыток профессо-

ра повлиять на его поведение. В один прекрасный день Мария Гепперт, будущий лауреат Нобелевской премии, вручила Борну петицию на толстой пергаментной бумаге, подписанную ею и почти всеми участниками семинара: если «юное дарование» не утихомирится, студенты начнут бойкотировать занятия. Все еще не желая предъявлять претензии в открытую, Борн решил оставить жалобу студентов в таком месте, где приглашенный на обсуждение диссертации Роберт не мог бы ее не увидеть. «Для верности, – писал впоследствии Борн, – я устроил дело так, чтобы меня вызвали из кабинета на несколько минут. План сработал. Когда я вернулся, Роберт был бледен и растерял свою болтливость». После этого Оппенгеймер больше никого не перебивал.

Однако нельзя сказать, что он был укрощен полностью. Резкая прямота Роберта задевала даже его преподавателей. Борн был блестящим физиком-теоретиком, однако его длинные расчеты подчас содержали мелкие ошибки, поэтому он просил аспирантов проверять их. Однажды он передал свои выкладки Оппенгеймеру. Через несколько дней Роберт вернул расчеты и сказал: «Я не смог найти ни единой ошибки. Вам действительно никто не помогал?» Все студенты знали о склонности профессора делать ошибки в расчетах, однако, как потом писал Борн, «только Оппенгеймер был достаточно прямолинеен и нетактичен, чтобы заявлять об этом на полном серьезе. Я не обиделся – наоборот, еще больше заужавал эту удивительную личность».

Борн вскоре стал партнером Оппенгеймера по исследованиям, о чем тот подробно отчитался в письме одному из своих бывших преподавателей физики в Гарварде, Эдвину Кемблу: «Такое впечатление, что все теоретики заняты квантовой механикой. Борн публикует работу об адиабатической теореме, Гейзенберг – о Schwankungen [флуктуациях]. Вероятно, самая важная идея принадлежит [Вольфгангу] Паули, он предположил, что обычные ψ [пси] функции Шредингера – это особые состояния и что только особое, спектроскопическое состояние дает нам физическую информацию, которая нам нужна. <...> Я уже некоторое время работаю над квантовой теорией аperiодических явлений. <...> Мы с профессором Борном также работаем над законом отклонения, скажем, α -частицы ядром. Пока что мы мало продвинулись, но мне кажется, скоро продвинемся. Разумеется, когда мы закончим теорию, она будет не так проста, потому что старая теория основана на корпускулярной динамике». Профессор Кембл был очень доволен: его бывший студент провел в Геттингене меньше трех месяцев, а уже с головой погрузился в увлекательное распутывание секретов квантовой механики.

К февралю 1927 года Роберт настолько уверенно ориентировался в новой сфере квантовой механики, что мог объяснить ее тонкости гарвардскому профессору физики Перси Бриджмену:

Согласно классической теории, электрон,

находящийся в одном из двух участков с низким потенциалом, отделенных друг от друга участком с высоким потенциалом, не мог перейти в другой участок, не получив достаточно энергии для преодоления “препятствия”. Согласно новой теории, это не так: электрон проводит часть времени в одном участке, а часть – в другом. <...> Новая механика подразумевает новый взгляд в одном пункте, а именно: электроны, которые являются «свободными» в определенном ранее смысле, вовсе не «свободны» в том плане, что они являются носителями равномерной тепловой энергии. С учетом закона Видемана – Франца можно принять предложение, сделанное, кажется, профессором Бором, о том, что при переходе электрона из одного атома в другой два атома обмениваются импульсами. С наилучшими пожеланиями,

Ваши

Дж. Р. Оппенгеймер

Знание бывшим студентом новой теории несомненно произвело на Бриджмена большое впечатление. Зато других бестактность Роберта настораживала. Он мог вести себя в одну минуту располагающе и предупредительно, а в другую грубо кого-нибудь оборвать. За столом он всегда был вежлив и крайне официален. При этом не терпел банальностей. «Проблема с Оппи в том, что он слишком быстро жмет на спусковой крючок интеллекта, – жаловался один из однокурсников Роберта Эдвард У. Кондон, – чем ставит собеседника в

невыгодное положение. И, черт побери, он всегда прав или почти прав».

Получив докторскую степень в Беркли в 1926 году, Кондон с трудом содержал жену и маленького ребенка на крохотное пособие научного работника. Его раздражало, что Оппенгеймер швырял деньги на еду и красивую одежду, демонстрируя блаженное неведение относительно семейных обязанностей друга. Однажды Роберт пригласил Эда и Эмили Кондон на пешую прогулку. Эмили объяснила, что ей нужно присматривать за ребенком. Ответ Роберта ошарашил Кондонов: «Ну ладно, занимайтесь своими крестьянскими делами». Несмотря на резкие реплики, Роберт все-таки нередко проявлял чувство юмора. Заметив двухлетнюю дочь Карла Комптона, делающую вид, будто читает красную брошюрку о мерах контрацепции, Роберт, взглянув на беременную жену Комптона, пошутил: «Опоздала».

Поль Дирак приехал в Геттинген на зимний семестр 1927 года и тоже снял комнату на вилле Карио. Роберту контакты с Дираком приносили истинное наслаждение. «Самый волнующий момент моей жизни настал, когда приехал Дирак и представил мне доказательства квантовой теории радиации», – отзывался об этом времени Оппенгеймер. В свою очередь, молодой английский физик был поражен разносторонностью интеллектуальных интересов друга. «Мне говорили, что помимо занятий физикой ты пишешь стихи, –

сказал Дирак Оппенгеймеру. – Как ты умудряешься совмещать и то и другое? В физике мы пытаемся объяснить нечто прежде неизвестное таким образом, чтобы люди это поняли. В поэзии все обстоит ровным счетом наоборот». Польщенный Роберт только рассмеялся в ответ. Он знал, что жизнь Дирака посвящена одной физике. В отличие от друга его собственные интересы были разнообразны до экстравагантности.

Он по-прежнему любил французскую литературу и, живя в Геттингене, нашел время прочитать драматическую комедию Поля Клоделя «Отдых Седьмого дня», сборники рассказов Ф. Скотта Фицджеральда «Самое разумное» и «Зимние мечты», пьесу Антона Чехова «Иванов», труды Иоганна Гельдерлина и Стефана Цвейга. Узнав, что два его друга регулярно читают Данте в оригинале, Роберт на месяц перестал появляться в геттингенских кафе, а когда вернулся, мог сносно читать Данте вслух на итальянском. Дирак пожимал плечами и бурчал: «Зачем ты тратишь время на ерунду? Музыкой и своей коллекцией картин ты тоже слишком много занимаешься». Роберт чувствовал себя уютно в сферах, недоступных пониманию Дирака, и попытки друга во время длинных совместных прогулок по окрестностям Геттингена отговорить его от увлечения иррациональным лишь вызывали у него веселье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.